

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт славяноведения и балканистики

**ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ
В СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ**

Сборник статей

Москва 1993

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт славяноведения и балканистики
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
"РУССКАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА"

**ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ
В СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ**

Сборник статей

Москва 1993

*Книга издана при содействии
Международного рекламно-информационного агентства
"РУССКАЯ ПРЕСС СЛУЖБА"
и Банка "ДЕЛОВАЯ РОССИЯ"*

*Редакционная коллегия:
Т.Н.Молошная (ответственный редактор),
Л.Н.Смирнов, И.А.Седакова*

ISBN 5-201-00765-1

© Институт славяноведения
и балканистики РАН, 1993

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Сборник содержит материалы межреспубликанской конференции "Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков", которая была проведена в Институте славяноведения и балканистики РАН 12–14 октября 1992 года, и ряд статей, написанных специально для данного сборника.

Книга характеризуется известной тематической и методологической цельностью. Она посвящена общим проблемам теории типологического и сопоставительного описания в основном близкородственных славянских языков, но с привлечением фактов и других языковых семей. Кроме общей теории, обсуждаются результаты сопоставительных исследований в области синтаксиса, морфологии, лексики, семантики и фонетики. Сборник открывается статьей, в которой трактуются теоретически и практически важные проблемы стратификации семантики; теоретически нагруженными являются также другие статьи, в которых рассматриваются вопросы соотношения типологии языков и типологии культур, особенности типологии родственных языков, вопросы словообразования славянских языков, проблемы сопоставительной славянской лексикологии. Значительное место в книге занимают работы являющиеся конкретными описаниями отдельных фрагментов славянских языковых систем (условные конструкции, категории времени и такси-са, освоение заимствованных суффиксов, сражение дистанционно-пространственных отношений в русском и английском языках, семантические соотношения группы глаголов движения в русском и литовском языках и многое другое).

Данный сборник является второй коллективной публикацией Института славяноведения и балканистики РАН по типологической и сопоставительной проблематике. См. "Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков". М., 1990.

A.B. Бондарко

К ВОПРОСУ О ТИПАХ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ: ПРИЗНАК ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ

1.2. Изложим вступительные замечания, касающиеся общих принципов анализа языковой семантики. В изучаемых семантических объектах выделяются аспекты значения как собственно языкового содержания и смысла как содержания мыслительного. Разграничение значения и смысла, восходящее к языковедческой традиции (ср., в частности, концепции А.А. Потебни и И.А. Бодуэна де Куртэн), становится в настоящее время особенно актуальным в связи с развитием когнитивной лингвистики, семантической типологии и функциональной грамматики.

В сфере смысловой ("глубинной") семантики существенны различия по признакам "когнитивная система" – процессы и результаты мыслительно-речевой деятельности. С этой точки зрения дифференцируются системно-категориальные и речевые аспекты смысла. Ср., с одной стороны, такие понятия, как семантическая (мыслительная, понятийная, когнитивная, ноэматическая) категория, а с другой – речевой, актуальный смысл, смысл высказывания и текста. Таким образом, в сфере смысла намечаются различия, сходные с соотношением языковой системы и речи. Смысл может рассматриваться, с одной стороны, в аспекте мыслительно-речевой деятельности, как процесс, а с другой – как результат (смысл "готового высказывания" и "готового текста").

Значение и смысл – это не разные семантические объекты, а взаимосвязанные аспекты семантики как единого целого. Смысл всегда выступает в той или иной языковой интерпретации. В самих языковых значениях выделяются аспекты, которые могут трактоваться как смысловая основа, включающая универсальные

семантические категории, и интерпретационный компонент – способ представления смысла, определяемый языковой формой¹.

1.2. Анализ значения грамматических форм в их отношении к содержанию высказывания тесно связан с общей проблематикой соотношения значения и функции². К этому кругу проблем относится и вопрос об интенциональности как признаке грамматических значений, рассматриваемых в их отношении к речевому смыслу.

Проблема интенциональности относится к тому направлению анализа, которое стремится связать сферу системных языковых значений с мыслительно-речевой деятельностью говорящего. Системно-языковое в семантике соотносится с процессами, актуальными для речевого акта.

2.1. Говоря об интенциональности грамматических значений, мы имеем в виду их связь с намерениями говорящего, с коммуникативными целями речемыслительной деятельности, способность данного значения выступать в виде семантической функции, являющейся одним из актуальных элементов выражаемого речевого смысла. Ср.: *Я говорил, говорю и буду говорить, что...*

Понятие интенциональности находит отражение в правилах следующего типа: "Если говорящий хочет предостеречь от выполнения неагентивного неконтролируемого, "ошибочного" действия, которое, как он полагает, может осуществиться после произнесения прескрипции, он должен употребить императивную форму СВ"³ (*Не провалитесь! и т.п.*).

Интенциональности противостоит неинтенциональность. Это понятие предполагает такие функции, которые не участвуют в реализации намерений говорящего и не являются актуальными элементами смысла высказывания (хотя и включаются в механизм его порождения в силу облигаторности внутриязыковых правил). Примером неинтенционального значения может служить выражение отнесенности действия к лицу мужского или женского пола в случаях типа *Я уже упоминал / упоминала об этих фактах*. Употребление форм мужского или женского рода, указывающих на пол лица-субъекта, обусловлено в таких случаях не намерением говорящего выразить это отношение, а грамматической облигаторностью (ср. высказывания с формами настоящего времени типа *Я знаю упоминаю об этих фактах*, где отношение к полу не выражено).

2.2. Понятие интенциональности в указанном истолковании пересекается с понятием интенции (назначения) в теории речевых актов, но не совпадает с ним. Коммуникативно-целевая семантика, о которой идет речь в данной теории, – это намерения (установки) говорящего, относящиеся к сфере "иллоктивных актов". Ср. такие коммуникативные цели высказываний, как вопрос, ответ, приказ, просьба, совет, запрет, разрешение, сожаление, приветствие, поздравление, информация о фактах, обещание, обязательство, предупреждение, критика, оценка и т.п.⁴. Эти цели достигаются при помощи определенных языковых средств с их значениями, но сами по себе не являются тем, что называется "значением формы". Мы же, говоря об интенциональности, имеем в виду свойства конкретных грамматических значений (таких, как значения форм наклонения, времени, вида, лица, залога, числа падежа и т.п.). Речь идет о той роли, которую эти значения играют в формировании актуального смысла высказывания. Рассматриваемые нами намерения говорящего заключаются в желании выразить отношение действия к будущему, гипотетичность и т.п.

2.3. Свойство интенциональности, характеризующее значения грамматических форм, может проявляться в разной степени. В одних случаях оно оказывается явно выраженным, тогда как в других выступает менее чётко (между наличием и отсутствием интенциональности нет резких граней).

Приведем некоторые примеры. Интенциональность значений форм времени четко проявляется при их "нефиксированном" употреблении в ситуативно актуализированной речи, создающей условия для явно выраженной противопоставленности временных планов с точки зрения момента речи. В этих условиях оказываются возможными "контрасты времен", указывающие на актуальность временной семантики для интенции говорящего. Ср.: *Вчера еще не догадывался, а сегодня твердо знаю...;* – *Мы стараемся (да и раньше старались)...* – *А мы и не будем стараться...* и т.п. При фиксированном употреблении форм времени в ситуативно неактуализированной речи интенциональность временных значений может быть выражена не столь явно. Так, в научных текстах, когда речь идет о постоянных явлениях, свойствах и отношениях (например, "*Как и морфема, слово обладает полевой структурой*" – В.Г. Адмони), устанавливается общий план "постоянного постоянного", который составляет общий "тимпоральный ключ" текста,

но не подчеркивается, не акцентируется в каждом отдельном высказывании. Актуальное отношение к моменту речи отсутствует, "чредование времен" для таких текстов не характерны. Сходные проявления "слабой интенциональности" характерны для нарративных текстов, особенно для художественного повествования, не связанного с подчеркнутой относительностью событий к тому или иному историческому периоду, с противопоставлением прошлого и настоящего. Аналогичное различие в степени интенциональности выявляется и при нефиксированном (ситуативно актуализированном) употреблении глагольных и местоименных форм лица в "плане речи" (по Э. Венвейстру) и при их фиксированном (ситуативно неактуализированном) употреблении в "плане истории".

Разумеется, значения времени и лица во всех случаях передают то или иное отношение содержания высказывания к действительности с точки зрения говорящего (ср. понятие предикативности и истолковании В.В. Виноградова) и соответствуют намерениям говорящего (пишущего). Однако в ситуативно актуализированной и ситуативно неактуализированной речи выступают разные типы интенциональности с точки зрения степени актуализации рассматриваемых значений в данном высказывании или его фрагменте.

Возможны случаи, когда один компонент данной грамматической категории существенно отличается от другого по степени интенциональности. Так, положительное и сослагательное наклонение, непосредственно связанные с коммуникативными целями высказывания и намерениями говорящего, характеризуются "сильной" интенциональностью, тогда как изъявительное наклонение выступают в данном отношении как немаркированная форма. В принципе и формы изъявительного наклонения могут выступать в употреблении, отличающемся четко выраженной интоциональностью, особенно в тех случаях, когда контраст наклонений в высказывании подчеркивает положительный семантический признак реальности: *"Не считал бы"*, *"а считаю..."*, однако в целом для форм индикатива это не характерно. Сама по себе регулярность их функционирования в роли основного способа представления модальности обусловливает относительную нейтральность с точки зрения проявлений интенциональности.

3.1. Одним из факторов, определяющих реализацию свойства интенциональности в высказывании, является межкатегориальное взаимодействие. Интенциональные функции – это не изолированные

ные назначения отдельных грамматических категорий, а семантические комплексы, включающие элементы разных категорий. В этих комплексах (например, с элементами аспектуальности, таксиса, временной локализованности, темпоральности и модальности) в зависимости от конкретных условий речевого употребления (коммуникативной цели высказывания, его синтаксической структуры, лексики, контекста, речевой ситуации) на передний план с точки зрения "степени интенциональности" может выступать то один, то другой компонент семантического комплекса. Поэтому актуальная цель употребления формы, представляющей определенную грамматическую категорию, может быть связана не с ее значением непосредственно (хотя оно и участвует в реализации этой цели), а с "соседними" категориями (не обязательно грамматическими: это могут быть семантические категории, выражаемые разноуровневыми средствами). Так, формы СВ или ПСВ могут употребляться не "ради вида" (видовой семантики самой по себе), а прежде всего "ради таксиса", "ради локализованности/нелокализованности во времени". Речь идет о семантике, выражение которой связано с видом, но не являющейся непосредственно значением данной видовой формы^б. "Первенство" по степени интенциональности характерно не для облигаторных грамматических категорий с абстрактным системным значением (таков глагольный вид), а для категорий с более конкретной семантикой (возможны и исключения: категория времени, обязательная для изъявительного наклонения, отличается высокой степенью интенциональности).

3.2. Наиболее интенциональны те категории, которые отражают актуальное в данном акте речи отношение обозначаемой ситуации к действительности. Речь идет прежде всего о категориях, охватываемых понятием предикативности, но не только о них. Интенциональными могут быть все те семантические элементы, которые отражают "актуальное для говорящего в его отношении к внешнему миру". Такова семантика субъектности, объектности, качества, количества, пространства, бытийности, посессивности, обусловленности (условия, причины, цели, уступительности). Каждая из этих категорий в ее речевой реализации может быть актуальным и акцентируемым элементом того смысла, который хочет передать говорящий.

Неинтенциональность, как уже было отмечено выше, во многих случаях связана с грамматической облигаторностью. Отсутствием или слабой степенью интенциональности характеризуются те семантические элементы, которые передаются не потому, что этого хочет говорящий, а потому, что в силу облигаторности определенной категории или определенного грамматического правила он не может не употребить данную форму, не может не выразить заключенное в ней значение. Таковы, в частности, многие типы употребления видов (ср. также сказанное выше о выражении отношения к полу).

Неинтенциональность или слабая интенциональность может проявляться в тех условиях, когда категория, в принципе способная к интенциональной реализации, в данном высказывании оказывается за пределами "интенциональной доминанты", т.е. уступает эту роль другой категории, а сама выполняет функцию "фона" (ср. "фоновую роль", которую во многих случаях выполняют формы изъявительного наклонения).

Отсутствие интенциональности может быть связано со структурным ("формальным") характером данного категориального значения. Примером может служить предметность как категориальное значение имен существительных. Такие значения включаются во внутриязыковой механизм порождения высказываний, но не являются коммуникативными функциями. Мы не можем сказать, что данное значение имеет непосредственный "выход в смысл".

4.1. Далее следует фрагмент анализа одной из видовых функций, характеризующихся возможной (хотя и не постоянной) интенциональностью. Речь идет о семантическом признаке "возникновение новой ситуации" (ВНС).

Анализируя семантику совершенного вида на уровне высказывания, аспектологи неизбежно приходят к тому, что сопряжено с пределом и следует за ним, — к изменению, к новой ситуации⁶.

Между статусом признаков ограниченности действия пределом (ОГР) и целостности (П), с одной стороны, и ВНС, с другой, существует различие. Признаки ОГР/П конституируют категориальное (системное) значение совершенного вида (СВ), являющееся инвариантным. Речь идет о типичном примере "общего значения" грамматической формы. Что же касается признака ВНС, то он представляет собой семантическую функцию уровня высказывания, реализующуюся "при благоприятных обстоятельствах",

т.е. при наличии факторов, обусловливающих ее актуализацию. Эта функция характеризует не одно лишь глагольное действие, а ситуацию в целом. Например: *Прошло лето, наступила осень.*

Будучи тесно связанным с лимитативностью, признак ВИС представляет собой особую семантическую субкатегорию в сфере аспектуальности. Ее сущность заключается в динамичности как "ситуационном сдвиге".

Функция ВИС тесно связана с включением действия в ось времени, на которой реализуется временная последовательность. Это понятие⁷ отражает один из факторов, определяющих закономерности функционирования видов, их комбинаторику при взаимодействии семантики вида и таксиса. Учитывая связи ВИС с времененной последовательностью (секвентностью), мы не отождествляем эти понятия. ВИС – это аспектуальная функция, базирующаяся на комплексе признаков ОГР/Ц и реализующаяся на уровне высказывания в различных условиях, в том числе и в монопредикативных высказываниях (*Где он? – Уехал*), тогда как секвентность – это таксисное в своей основе отношение, выражаемое в полипредикативных сочетаниях и в целостном тексте.

4.2. Выделяются два варианта ВИС: переход к новой ситуации, а) подготовленный предваряющим процессом, и б) "скачкообразный". Эти варианты обусловлены различием двух типов предельности: 1) тендентивной (*пробивается* – *пробиться* и т.п.), предполагающей отношение "наприленичество – достижение результата", и 2) нетендентивной (*встречаться* – *встретиться*; *заблестеть* и т.п.), не связанной с элементом 'наприленичество'.⁸

Связи между пределом и наступлением нового состояния та-ковы: всякое 'наступление' предполагает обусловливающий его предел, но выражение предела не всегда означает актуализацию 'наступления' (ВИС). Возможно выражение предела при невыраженности ВИС. В частности, это относится к глаголам СВ переду-ративного и делимитативного способов действия, выражющим "количественный предел". Например: *Сколько же времени мы здесь простоям?* Речь идет о том, как долго продлится данная ситуация, а не о наступлении новой.

4.3. Для НСВ характерна прежде всего способность передавать в высказывании данную, исходную ситуацию. В высказываниях с формами НСВ может быть передано и наступление нового состояния (ВИС). Речь идет прежде всего о тех "позициях",

в которых ИСВ выступает "вместо СВ", например, в настоящем историческом: *Подходит ко мне...* (в прошедшем времени был бы СВ). Ср. также ИСВ при обозначении обычных действий: *Каждый раз выздоравливала*. Способность в определенных условиях передавать 'наступление' – одно из проявлений семантической немаркированности ИСВ.

4.4. Функция ВИС может выступать в событийной и нейтральной (ординарной) разновидностях. Говоря о событийной разновидности ВИС, мы имеем в виду представление ВИС как события, имеющего самостоятельную смысловую значимость. Имеется в виду событийность в том "обычном" смысле, который фиксируется в словарях. Событие характеризуется признаками самостоятельности и значительности, неординарности. "Нейтральная" разновидность отличается отсутствием указанных выше признаков.

Признак исключительности (неординарности) находит проявление в том, что высказывания с событийным ВИС не поддаются "наглядно-примерной" трансформации. Этим они отличаются от высказываний с "нейтральными" (ординарными) микроситуациями в рамках описываемого эпизода. В последнем случае указанная трансформация не связана с какими-либо затруднениями. Например: *Пришли сели и долго молчали*; ср.: *Всегда так: придут, слушат и молчат*. Подобные трансформации невозможны при уникальности события (*Его убили* и т.п.).

Многие высказывания, содержащие событийное представление ВИС, могут быть ответом на вопросы типа "Что произошло?", "Что случилось?". Свойства самостоятельности (абсолютной или относительной) и значительности эксплицируют включение события в ось времени, а тем самым выделяется и ВИС.

Событийное ВИС выступает главным образом в рамках автономного включения новой ситуации в ось времени (*Иванова уволили!*), но возможно и при секвентном включении. В последнем случае, когда одно событие выступает в сочетании с другим (другими), каждое из них сохраняет свою относительную самостоятельность. Например: *Двенадцатого июня силы западной Европы перешли границы России, и началась война* (Л. Толстой). Что касается нейтральной (ординарной) разновидности, то она разным образом представлена как при секвентном, так и при автономном включении по временнюю ось.

4.5. Предпосылки выражения элемента ВИС реализуются при участии ряда актуализирующих факторов. Существенная роль лексического значения глагола, способов действия, таксисных отношений в полипредикативных конструкциях, а также актантов ситуации и обстоятельств типа *в друг*. Актуализации рассматриваемого признака способствует семантика акциональной перфективности.

Существенные смысловые акценты именно на наступлении нового состояния, когда ВИС играет ключевую роль в смысловой структуре высказывания (определенного фрагмента текста). Используются различные средства "введение в новую ситуацию" – *и вот...; -- и в этот самый момент... и т.п.*

С точки зрения возможностей невыраженности признака ВИС особого внимания заслуживают глаголы делимитативного и пердуративного способов действия (*немного поспать; просидеть целый час*). В тех случаях, когда эти глаголы выступают в ситуациях типа "ряд наступлений", "наступление – длительность" и т.п., реализация признака ВИС вполне очевидна: *Посплю и пойду гулять; Пролежал целый месяц в постели и теперь еду домой*. Одна ситуация, характеризующаяся точечным включением в ось времени, сменяется другой. Иначе обстоит дело в случаях типа *Хорошо бы поспать*. Здесь включение в ось времени не подчеркивается, с чем связана и невыраженность признака ВИС. В случаях типа *Он любит поговорить* наглядно-примерное представление узального действия связано с его ограниченностью пределом, но указание на переход к новой ситуации отсутствует. В случаях типа *Он хочет еще пожить у вас; Гошу у них уже давно и пробуду здесь до конца мая* речь идет о сохранении на некоторое время той ситуации, которая наличествует в данный момент. Количественный предел оказывается недостаточным для выражения ВИС.

4.6. Актуализированная реализация признака ВИС связана с непосредственным включением аспектуальной семантики в осознаваемый участниками речевого акта смысл высказывания, т.е. с понятием интенциональности. Категориальное значение целостности действия, будучи основанием для реализуемых в речи функций, само по себе не является эксплицитной целью высказывания (или дискретным элементом этой цели). Мы не можем сказать, что говорящий употребляет форму СВ "для того, чтобы выразить

неделимую целостность действия". Признак ограниченности действия пределом приобретает смысловую значимость в тех случаях, когда он выступает в конкретных речевых вариантах, актуализирующих утверждение или отрицание достигнутого результата, в частности, при контрасте с направленностью на ого достижение (*Сдавал экзамен, но не сдал*). Однако в широкой сфере нетендентивной предельности признак ОГР далеко не всегда выступает в актуализированной реализации (мы не можем сказать, например, что в случаях типа *Я это заметил* СВ употребляется "для того, чтобы выразить ограниченность действия пределом"). Признаки ОГР и Ц – это элементы общего значения СВ, являющиеся системно-языковым основанием выражаемой в речи аспектуальной семантики, но непосредственно не представляющие собой актуальных целей высказывания⁹. Иначе обстоит дело с признаком ВНС, выступающим на уровне высказывания. Мы вполне утверждать, что в актуализированной реализации этот признак имеет смысловую значимость: говорящий употребляет форму СВ именно для того, чтобы выразить наступление нового состояния, новой ситуации.

5.1. Один из наиболее сложных вопросов в проблематике интенциональности – это критерии определения наличия или отсутствия данного признака, а также определение степени его актуализации. Каковы объективно контролируемые методы определения интенциональности/псевдотенциональности? Какова методика верификации результатов анализа? Существующие возможности ответов на подобные вопросы ограничены. Можно высказать лишь некоторые предварительные соображения.

При анализе интенциональности возможно использование вопросов-тестов типа "для чего употребляется данная форма?", "что хочет выразить говорящий при ее употреблении?". Некоторые контрасты грамматем определенной грамматической категории, выступающие в данном высказывании (ср. упомянутые выше примеры типа *Я всегда так думал, думаю и буду думать*; ср. также видовые контрасты типа *Поступал в институт, но так и не поступил*). Некоторые также попытки говорящего и реципиента слушающего в случаях типа *Я думаю об этом, то есть, вернее, буду думать; Как ты себя чувствуешь? – Сейчас или вообще? – Сейчас неплохо, а вообще неважно* (пример, выявляющий интенциональность

различия локализованности / нелокализованности ситуации во времени, т.е. в данном случае – актуальности / неактуальности, конкретности / неконкретности значения настоящего времени). Иногда (очень редко) в текстах встречаются прямые "толкования" значений. Ср. пример, который мы уже приводили в предшествующих работах: *Выполнили вы приказ или не выполнили? – Я выполнял, добросовестно выполнял. Приказ находился в процессе выполнения. – Так все-таки, был выполнен приказ о восстановлении положения или не был?* (П. Григоренко).

5.2. Объективные трудности, с которыми встречается исследователь, заключаются в том, что при анализе интенциональности мы невольно затрагиваем психолингвистические и психологические аспекты рассматриваемой проблематики. Осознает или не осознает говорящий мотивацию употребления той или иной формы? Относится ли анализируемые интенции к сфере сознания или подсознания? Конечно, на каких-то этапах анализа можно абстрагироваться от подобных вопросов, относящихся к процессам "речевого мышления", однако в самой их постановке, возможно, отражается перспектива дальнейших исследований.

Реальная осознанность целей употребления той или иной формы в процессе речи, по-видимому, не может быть постоянной. Выбор определенной формы чаще всего, очевидно, является автоматическим и относится скорее к области подсознательного, а не актуально осознаваемого. Однако показательна и принципиально существенна сама возможность осознаваемости, возможность выявления цели употребления тех или иных формальных средств на основе интенции говорящего.

Примечания

¹ Бондарко А.В. К проблеме соотношения универсальных и идиоэтнических аспектов сомастики: интерпретационный компонент грамматических значений // Вопросы языкоизучания. 1992. № 3.

² Он же. К вопросу о функциях в грамматике // Известия АН. Сер. лит. и яз. 1992. Т. 51, № 4. С. 16–18.

³ Храковский В.С. Императивные формы ПСВ и СВ в русском языке и их употребление // *Russian Linguistics*. 1988. V. 12. P.273.

⁴ См. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986. С.22–129.

⁵ Ср. замечание Ф. Леманна о том, что в случаях типа *Петров придет* мотивацией к употреблению СВ является не целостность действия, а скорее "будущее" и "однократность" (*Lehmann V. Satzsemantische oder verarbeitungssemantische Aspektbeschreibung* // *Slavistische Beiträge*, 1986. B. 200. S. 150–151).

⁶ См. Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. Л., 1984. С. 48–50. См. также работы А.А. Холодовича, А.Вожбицкой, В.В. Гуревича, Г.Галтона, А.Барентсона, М.Я. Гловинской, Ю.Л. Апресина, Е.В. Надучевой, Н.Телина и ряда других исследователей.

⁷ Galton H. *The main functions of the Slavic verbal aspect*. Skopje, 1976. P. 9–12.

⁸ Бондарко А.В. Предельность и глагольный вид (на материале русского языка) // *Известия АН СССР*, Сер. лит. и из., 1991, Т. 50, № 4, С. 195–206.

⁹ Он же. О значениях видов русского глагола // *Вопросы языкоznания*. 1990, № 4. С. 5–24.

РОДСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ КАК ОБЪЕКТ ТИПОЛОГИИ

1. Согласно распространённой точке зрения, в типологии (в отличие от сравнительно-исторического языкоизучания) сопоставление языков осуществляются не только без ограничений на их генетические связи, но, более того, с акцентом на предпочтительность иметь в выборке обследуемых языков представителей как можно большего числа различных языковых семей: в этом случае увеличивается вероятность обнаружения большего числа вариаций исследуемого явления 1–4.

Такой, вполне правомерный, подход иногда неправомерно абсолютизируется. А именно, утверждается, что сопоставление структурных характеристик родственных языков вообще не относится к области типологии, так как исключают возможность получения типологически значимых обобщений о пределах языкового варьирования.

Целью данной статьи является обосновать тезис о том, что типология родственных языков является необходимой частью общей типологии. Более того, в отдельных случаях типологическое сравнение в рамках групп родственных языков обладает несомненными методическими преимуществами.

2. Эмпирической базой типологии, как известно, являются наблюдения над конкретными языками. На основании этих наблюдений делаются обобщения о возможных сходствах и различиях и о диапазоне межязыковых различий (пространстве типологических возможностей) исследуемого языкового феномена. Наиболее надежной эмпирической основой таких обобщений были бы данные о всех естественных языках. Однако достичь такой эмпирической полноты невозможно хотя бы потому, что множество естественных языков включает как бесследно исчезнувшие мертвые языки,

так и языки, которые возникнут или могут возникнуть в будущем. Более того, даже если ограничиться лишь современными языками (их, по последним данным – 6170)⁵, нынешнее состояние описательной лингвистики закрывает доступ к информации о большинстве из них⁴. И, наконец, на эмпирическую полноту типологических исследований наложены существенные ограничения практического характера: человеческие возможности каждого исследователя значительно скромнее, чем та, хотя и неизолная, эмпирическая база, которую ему предоставляет современная описательная лингвистика.

Противоречие между принципиальной эмпирической неполнотой типологии и ее протогенезом на всеобщий характер обобщений лежит, таким образом, в самой основе типологического подхода к языку. В каждом конкретном исследовании оно разрешается лишь условно – принятием некоторого порога достаточной (или доступной исследователю) выборки, приравнивающего эту частичную выборку к полной.

Если бы типологические исследования опирались исключительно на эмпирический метод, то есть ограничивались перечислением зафиксированных в выборке различий, то их результаты непосредственно зависели бы от избранной эмпирической базы исследования. В действительности же, в типологии активно используется также дедуктивная методика, позволяющая не только перечислять те языковые различия, которые эмпирически зафиксированы, но и исчислять все допустимые, в соответствии с выделенными основаниями классификации, различия⁶. Таким образом, дедуктивная методика позволяет существенным образом компенсировать слабости эмпирического метода, и уронеть типологических обобщений зависит не столько от абсолютной величины выборки, сколько от ее качественных характеристик.

3. Каковы требования к качественным характеристикам выборки языков? Прежде всего, они определяются содержательной природой исследуемого языкового явления (параметра).

Во-первых, языковые параметры различаются степенью своей шартируемости. Если одни параметры принимают ограниченное количество дискретных значений (минимально два), то другие представляют собой скорее шкалу с континуальным множеством значе-

ний. Примерами параметров с дискретным множеством значений являются типы словопорядков. Так, параметры относительно расположения имени и его определителей являются бинарными: определитель (прилагательное, числительное, artikel, определительное придаточное) или предшествует имени, или следует за ним. Параметр словопорядка подлежащего (S), дополнения (O) и глагола (V) имеет максимально шесть значений: SVO, SOV, VSO, VOS OSV, OSV⁷. Наоборот, известная морфологическая классификация языков, выделяющая три дискретных значения и противопоставляющая аморфные (изолирующие) языки агглютинативным и фузионным, по существу содержит в своем составе шкалу агглютинативности/фузионности^{8,9}.

Во-вторых, языковые параметры различаются по степени их внутренней структурной сложности. Обычно дискретные параметры более просты, чем континуальные (принимающие несчетное множество значений). Но сложность характеризуется не только и не столько числом значений параметра, сколько объемом параметризуемого фрагмента языковой структуры. Языковой параметр тем сложнее, чем на большее число составляющих его параметров он в свою очередь членится и чем больше глубина этого членения. Очевидно, что параметр "число существительного" устроен значительно проще, чем параметр "синтаксический тип языка"^{9,10,11}.

В-третьих, языковые параметры могут относиться к универсальным, частотным или редким феноменам. Так, параметры "синтаксический тип" или "императивность" (см. исследование этого параметра в книге "Типология императивных конструкций")¹² принимают некоторое значение для всякого языка, параметры "число существительного", "залог"¹³, "подлежащее"^{14–15–16} – для большинства языков, параметры "род/именной класс"¹⁷, "вид"¹⁸, "переключение референции" (*switch reference*)¹⁹ – для представительной части языков, а параметры "двойное падежное маркирование" (*Suffixaufnahme*)²⁰ или антипассив²¹ – для ограниченного числа языков.

В-четвертых, языковые параметры (а также конкретные значения параметров) неоднородны в отношении их диахронической устойчивости/изменчивости (*stability/diversity* – в соответствии с терминологией Дж. Никольс³, или *mobility*, по терминологии Дж. Хобкинса²²). По этому признаку они могут быть шкалированы. На одном конце шкалы располагаются языковые явления, характе-

ризующиеся максимальной исторической устойчивостью, постоянством, консерватизмом, на другом – максимально изменчивые, варьирующие явления, переходящие из одного состояния в другое относительно легко. Так, давно известна в целом значительно большая изменчивость фонетической системы языка в сравнении с его морфологической и, тем более, синтаксической системой. Разграничению устойчивых и изменчивых типологических параметров посвящена, в частности, работа Дж. Никольс, поиску генетически и ареально устойчивых параметров – книга "Структурные общности кавказских языков"²³. Разные значения одного параметра также различаются степенью устойчивости. Так аккузативный тип языка характеризуется большой устойчивостью, а контрастивный – очень неустойчив⁹.

4. Очевидно, что указанные свойства языковых явлений влияют на стратегию определения представительной выборки в типологическом исследовании. Исследование некоторых феноменов в типологической перспективе требует обязательного обращения к языкам разных ареалов и разной генетической принадлежности – в противном случае нас ожидают тривиальные или вырожденные обобщения. В то же время многие параметры могут успешно исследоваться в рамках одной языковой семьи. Именно о них и пойдет далее речь.

По признаку "устойчивость/изменчивость" изменчивые параметры наиболее благоприятны для типологии родственных языков, так как более вероятно, что родственные языки не сохранили исходное праязыковое состояние данного параметра и реализуют разные стадии его вариации. Так, поразительное разнообразие именного основообразования демонстрируют дагестанские языки^{24, 16}. Однако и традиционно устойчивые параметры в принципе способны к изменению, и обнаружение имеющихся сдвигов наиболее показательно при сравнении родственных языков. Так, варьирование синтаксического типа языка засвидетельствовано в карипских языках центральной Бразилии²⁵, в языковой семье австралийских языков пама-ньюнган (Pama-Nyungan)²⁶.

Признак "универсальный/редкий" зависит от представленности данного параметра в исследуемой языковой группе. Так, для дагестанских языков редкий параметр "двойственное число" не-

релевантен, в то время как не менее редкое числовое значение "собирательное множественное" распространено в некоторых из них (например, в будухском)¹⁰, и такие данные особенно ценные для общей типологии категории числа.

Что касается признака "сложность/элементарность" параметра, то исследование "сложных" параметров особенно перспективно в родственных языках. Дело в том, что "сложные" параметры представляют собой, как правило, в каждом языке специфическую, а может быть, и уникальную конфигурацию импликативно связанных более простых параметров, и сопоставление таких конфигураций в родственных языках, где относительное расстояние между ними неизначительно, может дать результаты, недостижимые при сопоставлении генетически далеких языков. В этой связи могут быть вновь упомянуты исследования в области параметра "языковой тип" (см. также исследование базисного синтаксиса дагестанских языков²⁷), исследование согласования в славянских языках²⁸, mostбименных клитик в романских языках²⁹.

Наконец, с точки зрения признака степени варируемости исследование континуальных параметров особенно перспективно именно на материале родственных языков: в этом случае можно ожидать более равномерного покрытия шкалы значений данного параметра, в то время как выборочные данные языков разных семей достаточно плотного покрытия пространства типологических возможностей не гарантируют, и разброс типов может быть слишком велик (и типологически случаен), чтобы построить адекватное исчисление. В качестве примера можно указать на исследование именных парадигм²⁴, и также конструкций с сентенциальными актантами в дагестанских языках^{30, 16}. Последнее исследование позволило, в частности, дезавуировать распространенный тезис о том, что во всех органических языках сентенциальные актанты при глаголах с семантикой 'хотеть' организованы по аккузативной модели³¹. Обследование двадцати дагестанских языков показало значительный разброс стратегий построения сентенциальных актантов при глаголах с семантикой 'хотеть' и 'боиться' и установить корреляцию этих стратегий не с синтаксическим типом языка, а со сдвигами в семантике соответствующих глаголов.

5. При оценке различных типологических подходов к выборке языков следует иметь в виду, что исчисление пространства типологических возможностей не является конечной целью типологии, — это скорее лишь первый этап типологического обобщения, за которым должна следовать детальная проработка всех точек этого пространства, так чтобы было обеспечено максимально полно документированное его покрытие. Когда общая схема парирования рассматриваемого явления установлена, именно данные родственных языков в ряде случаев могут предоставить недостающую информацию для дальнейших типологических обобщений.

Таким образом, можно констатировать, что имеется достаточно обширный спектр языковых феноменов, типологическое исследование которых в рамках группы родственных языков не только методически оправдано, но и в ряде случаев предпочтительнее.

6. До сих пор мы обсуждали вопрос о соотношении типологии родственных языков с общей типологией в аспекте синхронии. Еще больший вес приобретают типологические исследования родственных языков в диахронической перспективе. С этой точки зрения все синхронные межъязыковые различия между родственными языками предстают собой не что иное как различные дочерние состояния, являющиеся результатом исторических изменений исходного материнского состояния, то есть всякое такое парирование является следом динамического развития, смены типа. Соединение синхронных вариаций исследуемого параметра в родственных языках позволяет реконструировать исходное состояние данного параметра, а также проследить направление возможных его изменений и их относительную хронологию.

Таким образом, данные типологии родственных языков создают надежную эмпирическую базу для типологии языковых измерений — диахронической/эволюционной типологии (*diachronic typology*)³²; данное утверждение сохраняет силу и в том случае, если диахроническая и эволюционная типология различаются³³. Такой метод Дж. Гринберг называет методом внутригенетического сравнения (*intragenic comparison*)³⁴. Пространство типологических возможностей предстает перед исследователем не как сумма логических альтернатив, допускающих произвольный

выбор на любой стадии развития языка, а как система, элементы которой связаны направленными отношениями $X \rightarrow Y$, где X и Y — элементы пространства типологических возможностей, а стрелка символизирует отношение исторического предшествования/следования. Естественно, что установление такого рода эволюционных отношений затруднительно, если не невозможно, без данных типологии родственных языков. Поэтому неудивительно, что большинство статей в известном сборнике "Механизмы синтаксических изменений"³⁵ в явном или скрытом виде опирается на данные тех или иных групп родственных языков (или на стадии исторического развития одного языка), а не на выборку генетически несвязанных языков, общепринятую в синхронической типологии. (Это, разумеется, не означает, что подход, ориентированный на охват данных максимального числа языковых групп с тщательным традиционным отбором языков, дающим выборку с равномерным распределением языков по языковым семьям, в данном случае неприменим: ср. фундаментальную работу по грамматикализации категорий времени, вида и модальности³⁶).

7. Итак, можно подытожить сказанное.

Типологические исследования родственных языков являются необходимым компонентом общей типологии. В области синхронической типологии они позволяют дать более полное и адекватное представление о качественных характеристиках языковых параметров, документировать пространство типологических возможностей вариативных, неустойчивых и структурно сложно устроенных параметров, обнаружить редкие параметры.

В области диахронической типологии последовательное фронтальное обследование языковых параметров по языковым семьям является вообще основным методом. В этом случае, опираясь на множественность синхронных реализаций исходного типа, можно использовать накопленный в компаративистике опыт реконструкции и выявить динамические принципы смены языковых типов. Такого рода исследования важны не только сами по себе, но они позволяют по-новому взглянуть на проблему объяснения в лингвистике^{33, 6} и тем самым более глубоко понять сущностную природу языка.

Примечания

- 1 Bell A. *Language samples//Universals of human language.* Vol. 1: Method and theory./Ed. by J.H.Greenberg, Ch.A. Ferguson, E.A. Moravcsik. Stanford, 1978.
- 2 Tomlin R. *Basic word order: Functional principles.* Croom Helm, London, 1986.
- 3 Nichols J. *Linguistic diversity in space and time.* Chicago, 1992.
- 4 Stassen L. *Comparison and universal grammar.* Basil Blackwell, Oxford – New York, 1985.
- 5 Ethnologue: *Languages of the world*/Ed. by B. Grimes. Texas, 1988.
- 6 Кибрик А.Е. Типология: таксономическая или объяснительная, статическая или динамическая//Вопросы языкоznания. № 1, 1989.
- 7 Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов//Новое в лингвистике. Вып. V. M., 1970.
- 8 Сэпир Э. Язык //Труды по языкоznанию и культурологии. M., 1993.
- 9 Кибрик А.Е. О неуниверсальности синтаксического членения предложения. (В печати).
- 10 Kibrik A.E. *Defective paradigms: number in Daghestanian//* Eurotyp working papers. Theme 7. Noun phrase structure. Strasbourg, 1992.
- 11 Kibrik A.E. *Semantically ergative languages in typological perspective//Eurotyp working papers. Groupe IV. Actance et valence.* Strasbourg, 1991.
- 12 Типология императивных конструкций. С–Пб., 1992.
- 13 Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 1974.
- 14 Кинэн Э.Л. К универсальному определению подлежащего// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. M., 1982.
- 15 Кибрик А.Е. Подлежащее и проблема универсальной модели языка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, № 4, 1979.

- 16 *Кибрик А.Е.*. Очерки по общим и прикладным вопросам языкоизучения (универсальное, типовое и специфичное в языке). М., 1992.
- 17 *Corbett G.G.* Gender. Cambridge, 1991.
- 18 *Tense-aspect: between semantics and pragmatics*/Ed. by P.J. Hopper. John Benjamins, Amsterdam - Philadelphia, 1982.
- 19 *Switch reference and universal grammar*/Ed. by J. Haider, P. Muñoz. John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 1983.
- 20 *Double case: Agreement by Suffixaufnahme*/Ed. by F. Plank. (In press).
- 21 *Heath J.* Antipassivization: A functional typology//Proceedings of the second annual meeting of Berkeley Linguistic Society. Berkeley, 1976.
- 22 *Hawkins J.* Word order universals. Academic Press. New York, 1983.
- 23 Структурные общности кавказских языков. М., 1978.
- 24 *Kibrik A.K.* Organizing principles for nominal paradigms in Daghestanian languages: Comparative and typological observations//Paradigms: The economy of inflection/Ed. by F. Plank. Mouton de Gruyter. Berlin - New York, 1991.
- 25 *Franchetto B.* Ergativity and nominativity in Kuikuro and other Carib languages//Amazonian linguistics: Studies in Lowland South American languages/Ed. by D.L. Payne. Austin, 1990.
- 26 Grammatical categories in Australian languages/Ed. by R.M.W. Dixon. Canberra, 1976.
- 27 *Кибрик А.Е.* Материалы к типологии эргативности//Предварительные публикации ИРЯ АН СССР. Вып. 126-130, 140-141. М., 1979-1981.
- 28 *Corbett G.G.* Hierarchies, targets and controllers: Agreement patterns in slavic. Groom Helm. London - Canberra, 1978.
- 29 *Wanner D.* The development of Romance clitic pronouns: From Latin to Old Romance. Mouton de Gruyter. Berlin - New York - Amsterdam, 1987.
- 30 *Kibrik A.E.* Constructions with clause actants in Daghestanian languages//Studies in ergativity/Ed. by R.M.W. Dixon. North-Holland. Amsterdam - New York - Oxford - Tokyo, 1987.
- 31 *Dixon R.M.W.* Ergativity//Language. № 1, 1979.

- 32 *Croft W.* Typology and universals. Cambridge – New York, 1990.
- 33 *Николаева Т.М.* Диахрония или эволюция (Об одной тенденции развития языка//Вопросы языкоznания. № 2, 1991.
- 34 *Greenberg J.H.* Some methods of dynamic comparison in linguistics//Substance and structure of language/Ed. by J. Puhvel. Berkeley – Los Angeles, 1969.
- 35 *Mechanisms of syntactic change*/Ed. by Ch.Li. Austin–London, 1977.
- 36 *Bybee J., Perkins R., Pagliuca W.* The grammaticalization of tense, aspect, and mood in the languages of the world. (In press).

ТИПОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ И ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР

В лингвистической и культурологической литературе достаточно распространены попытки обнаружить корреляции между типами языка и типами культуры, свойственными тому или иному обществу. Например, Дж. Хайман пишет: "...Общеизвестно, что такие структуры, обычные для языков "среднеевропейского стандарта", как сравнительные (обороты), ... отсутствуют в большинстве "туземных" языков и могут быть выражены лишь посредством сравнительно громоздких и прозрачных (по своему составу) перифрастических конструкций. Безусловно законным является предположение, согласно которому (грамматическая) кодификация сравнения отражает культуру, для которой характерны индивидуализм и состязательность, а отсутствие такой кодификации — культуру относительно оглупленную. Этнографические свидетельства подтверждают эту гипотезу"¹.

Другой пример — попытки связать такой параметр, как типичный темп речи, с коллектиivistскими/индивидуалистскими тенденциями в культуре: предполагается, что для культур коллектилистского типа характерен более медленный темп речи; объяснение заключается в том, что для культуры с коллектиivistскими устремлениями в большей степени свойственна общность фоновых знаний, слово вообще используется более скучно и "говорливость" не поощряется².

В то же время даже авторы, к которым восходят многие идеи о связи языка и культуры — Э. Сапир и Б.Л. Уорф, — высказывались о такой связи с известной осторожностью. Уорф, с одной стороны, прямо утверждал, что "даже грамматика хопи отражала в какой-то степени культуру хопи так же, как грамматика европейских языков отражает "западную", или "европейскую" культу-

туру"³, с другой же делал оговорки (не очень хорошо поддающиеся интерпретации), согласно которым "между культурными нормами и языковыми моделями существуют связи, но не корреляции или прямые соответствия"⁴. Сепир же вообще допускал, что "лучше будет, если мы признаем движение языка и движение культуры несопоставимыми, взаимно не связанными процессами"⁵.

Действительно, сопоставление типов языка и культуры объективно затруднено по крайней мере двумя (разнородными) обстоятельствами. Первое носит скорее внешний характер. По существу отсутствует сколько-нибудь развитая типология культур, поэтому в нашем распоряжении просто нет двух типологий, "однопорядковых" по принципам классификации или ранжирования, по степени разработанности, которые могли бы быть "наложены" друг на друга. Лингвистические типологии, как известно, достаточно широко представлены в литературе, хотя и здесь трудно говорить о единой, цельносистемной типологической схеме, которая – одна – могла бы быть положена в основание сравнения. Второе обстоятельство, делающее сложным типологическое сопоставление языков и культур, имеет более сущностный характер. Допустим, сильно сузив понятие типа культуры, мы будем подразумевать под последним тип ментальности, или, иначе, тип картины мира, присущий данному этноязыковому сообществу (предположим, что мы умеем описывать соответствующие типы). Вполне естественно, если так понимаемый тип культуры будет подлежать сопоставлению с семантической системой языка, как она отражена в его словаре и грамматике. Однако есть все основания утверждать, что семантическая система и есть форма существования картины мира: какую другую реальность отражают семантические оппозиции в области грамматики и лексики данного языка, если не представления о мире – т.е. картину мира – его носителей? Например, если нас интересует такой существенный компонент картины мира, как представления о пространстве и времени, то именно языковые факты будут тем основным материалом, который даст нам ответ на соответствующий вопрос. Иначе говоря, трудность сопоставления заключается в том, что сравниваемые объекты не обнаруживают достаточной независимости, но, напротив, объективно стремятся к слиянию.

Здесь, в свою очередь, есть два фактора, которые следуют учитывать, пытаясь преодолеть указанную трудность. Прежде всего необходимо различать языковую и текстовую картины мира. Первая зафиксирована в словарной лексике – в семантическом устройстве словаря – и в семантике грамматических оппозиций, вторая (вернее, вторые) – в множестве текстов энциклопедического, в широком смысле, характера, которые описывают мир и человека с точки зрения некоторого сообщества вплоть до мирового сообщества в целом или содержат информацию, опираясь на которую можно такого рода описание вынести. Языковая картина мира по преимуществу имплицитна, неосознаваема, но в то же время носит всеобъемлющий и универсальный характер, в то время как текстовая стремится к эксплицитности, в предельном случае это так наз. научная картина мира, т.е. теоретическая модель, сконструированная учеными; обычно лишь весь универсум текстов дает представление о классе реально существующих моделей, каждый конкретный текст нормально представляет лишь небольшой фрагмент одной из моделей.

Языковая картина мира консервативна, как консервативен сам язык, текстовые же могут эволюционировать достаточно быстро⁷. В этом и заключается второй фактор, который следует учитывать, пытаясь "развести" картину мира и семантическую систему, представленную в языке и с помощью языка. Картина мира, закодированная средствами языковой системы, со временем может оказаться в той или иной степени пережиточной, реликтовой, лишь традиционно воспроизводящей былые оппозиции в силу естественной недоступности иного языкового инструментария; с помощью последнего создаются новые смыслы, для которых "старые" служат своего рода строительным материалом. Иначе говоря, возникают расхождения между архаической семантической системой языка и той актуальной ментальной моделью, которая действительна для данного языкового коллектива и проявляется в порождаемых им текстах, а также в закономерностях его поведения. В этой ситуации, как видим, сопоставление типа языка – его семантики – и типа культуры как менталитета становится вполне осмысленным предприятием.

В любом случае, однако, мы сталкиваемся с таким положением дел, когда традиционные лингвистические типологии оказыва-

ваются плохо приспособленными для задач лингвистико-культурного сопоставления, а существование сколько-нибудь разработанных культурных типологий вообще проблематично. Соответственно, если не отказываться от указанной постановки проблемы, необходимо искать новые типологические подходы как в области лингвистики, так и в области культурологии.

Именно такого рода попытки представления в целом ряде работ последнего времени, в которых предпринимается систематическое сопоставление определенных языковых параметров, с одной стороны, и параметров социо-культурных — с другой⁸. Наиболее масштабна в этом отношении работа Р.Д. Перкинса, который на материале представительной выборки в 50 языков исследовал корреляцию между языковыми и культурными параметрами. Для оценки языков Перкинс использовал две шкалы. Одна представляла интервал от 0 до 7, что отражало количественное присутствие следующих грамматических показателей: глагольных показателей времени и вида, приимонных показателей лица (аффиксы притяжания), глагольных показателей ориентации в пространстве, именных показателей инклюзивности/эксклюзивности и двойственного числа (последний показатель включен условно, с оговорками). По другой шкале в интервале от 0 до 4 оценивалось присутствие таких синтаксических средств, как детерминаты, относительные местоимения, подчинительные и сочинительные союзы.

Одновременно по методике, разработанной культурологами⁹, в интервале от 1 до 5 оценивался "уровень сложности" соответствующих культур, который трактовался как функция от развитости и типа сельского хозяйства, максимального размера поселений, уровня разделения труда, развитости социальной и политической иерархии.

Было эмпирически показано, что языковые и культурные параметры скоррелированы неслучайным образом. Общая тенденция заключается в том, что культуры с относительно низким уровнем сложности обслуживаются языками, для которых характерно широкое использование дейктических элементов, в том числе аффиксальных элементов типа перечисленных выше, в то время как культуры более высокого уровня сложности ассоциируются с языками, где типично не столько указание на референт, сколько огно описание с помощью синтаксических средств панодобно избрани-

ных, как сказано выше, для количественной оценки. Общая картина отражена в работе Перкинса посредством таблицы, которая описывает типичные соотношения уровня сложности культуры и представленности в языке соответствующих грамматических средств¹⁰:

Средства идентификации референта	Уровень сложности культуры	
	Низкий	Высокий
Прагматические	Обычны	Используются ограниченно
Аффиксальные дейктические средства (bound deictics)	Возможны	Слабо развиты
Лексические дейктические средства	Возможны	Используются ограниченно
Синтаксические средства	Возможны	Высокочастотны

По материалам Перкинса для грузинского языка, например, индекс дейктичности (терминология наша) принимает значение 3, индекс дескриптивности, как можно обозначить меру использования синтаксических средств для идентификации референта, — также значение 3 при индексе сложности культуры, равном 5. Для кхмерского языка получены индексы 0 — 4 — 5 соответственно, а для таких языков, как тасманийский, оджибве и нивок, где культуры оценены как однобалльные по уровню сложности, индексы дейктичности и дескриптивности составили 3 — 0, 4 — 2 и 4 — 0.

В качестве объяснения полученным данным, которые верифицированы статистически, предлагаются то обстоятельство, что для носителей культур, характеризуемых относительно низким уровнем культурной сложности, типична высокая степень общности знания. Соответственно языковое общение в условиях культур с низким уровнем сложности чаще предполагает указание, нежели описание. Так, Э. Кинэн утверждает, что дейктические системы лучше развиты в языках, носители которых составляют не большие — от 500 до 3—4 тыс. человек — компактные сообщества

и не обладают письменностью¹¹. Дж. Дени, изучая системы дейктика в эскимосском, кикую и английском, приходит к выводу, согласно которому развитость дейктической системы обратно пропорциональна показателю, который характеризует степень антропогенности пространственного контекста, типичного для речевого общения¹².

Эмпирические результаты и предложенные для их объяснения гипотезы, очень кратко изложенные выше, представляют несомненный интерес. Не обсуждая их сколько-нибудь подробно, выскажем лишь несколько замечаний. Параметры, которыми оперируют Карнейро и другие культурологи, а вслед за ними – лингвисты, в частности Перкинс, характеризуют не столько культуру, сколько цивилизацию (которую уместно считать лишь одним из аспектов культуры, в целом противополагающейся "патуре"). Если же задаваться вопросом о культуре как типе ментальности, о чем всплеск речь выше, то в схеме, используемой Перкинсом, мы имеем дело, скорее, с некоторыми внешними цивилизационными проявлениями оппозиции, которая плохо поддается формализации: "более/менее традиционалистские культуры"¹³. Носитель традиционалистской культуры отличается, среди прочего, большей "погруженностю в контекст": чем "архаичнее" культура, тем меньше человек выделен из среды. Индивидуализация, персонализация, сущностью определяющие мене традиционалистские культуры, оказываются и в индивидуализации "баз данных", используемых разными носителями такой культуры. Отсюда повышенная необходимость в описании референта, который иначе не будет идентифицирован, его "модель" не будет введена в ментальный тезаурус партнера по коммуникации.

Оборотной стороной того же самого выступает, по сути, степень привязанности к коммуникативному акту. Относительно мало выраженная персонализация, общность и слабая диверсификация индивидуальных моделей мира, наблюдаемые на материале традиционалистских культур, как раз и придают коммуникативному акту его самодостаточный характер. Каждое высказывание ориентировано прежде всего на данный коммуникативный акт с его внеязыковым контекстом и, в частности, на некоторый набор референтов, входящий в этот последний. Отсюда и активность дейктических средств: языковой инструментарий ориентирован не столько на то, чтобы рассказывать о референтах, сколько на при-

мое указание, выделяющее последние из актуального внеязыкового контекста. Используя логическую терминологию, можно сказать, что языки, обслуживающие традиционалистские культуры, более ориентированы на оценчивость, нежели на дескриптивность.

Относительная отстраненность по отношению к коммуникативному акту, которую уместно предположить, таким образом, для менее традиционалистских культур, своим лингвистическим следствием может иметь снижение роли дейктических средств и, что важнее, повышение роли средств анафорических: высказывание в таком случае погружено не столько в контекст коммуникативного акта с его координатами "я-здесь-теперь", сколько в собственно языковой контекст, т.е. связано с другими высказываниями в рамках текста. Это и означает, что в языке, обслуживающем менее традиционалистскую культуру, должны быть достаточно развиты средства перекрестной референции, или анафорические средства.

Если сказанное верно, то следует ожидать различий в индексе анафоричности – среди числе анафорических местоимений на высказывание – для текстов на разных языках, которые отличаются культурами, отличающимися с точки зрения большей/меньшей выраженности традиционализма. Эта гипотеза проверялась на материале сопоставления параллельных русских и вьетнамских текстов в диссертации, выполненной под руководством автора¹⁴. Оказалось, что в русских текстах – напомним, что исследовались параллельные тексты: переводы с русского языка на вьетнамский и наоборот – индекс анафоричности превышал тот же показатель для вьетнамского в 1,4–2 раза (художественный и научный тексты соответственно).

Относительно низкий индекс анафоричности указывает на то, что язык, для которого он действителен, предпочитает высказывания, в большей степени контекстно-свободные, автономные, аутосемантические. Одновременно такого рода характеристику можно трактовать как большую ориентированность на диалог: ведь именно диалог всегда реализуется в рамках коммуникативного акта, связанного с ситуацией общения, в то время как для высказываний в составе монолога относительно важнее их связь друг с другом.

Достаточно очевидно, что говоря о диалоге и монологе, мы вовлекаем в рассмотрение еще один важный лингво-культурный аспект: наличие/отсутствие и акцентированность письменной традиции¹⁵. Хотя о жесткой связи здесь говорить не приходится, в целом диалог тяготеет к устной речи, а монолог – к письменной. Оставляя в стороне весь сложный комплекс проблем, касающихся роли письменности, письменной традиции в формировании типа культуры¹⁶, можно сказать, что одни культуры в большей степени ориентированы на то, чтобы общение осуществлялось в виде обмена достаточно развернутыми текстами, другие – относительно меньше. Общение развернутыми текстами, в типичном случае сопряжено с временным разрывом между порождением и восприятием текста – последний фиксируется на письме¹⁷. вполне естественно, что язык вырабатывает особые средства, предназначенные именно для таких текстов и их "референциальной эффективности".

Итак, хотя любая культура основана на диалоге, более традиционалистские культуры в большей степени "диалогоцентричны"; для языков таких культур типично большее развитие дейктических средств и меньшее – анафорических, эти языки мало используют синтаксические средства, предназначенные для обеспечения непрямого – через описание – указание на референт. Применительно к таким культурам и обеспечивающим их языкам можно говорить о меньшей роли письменных текстов, письменной традиции. Языковые соответствия менее традиционалистских культур, как мы видели, носят противоположный характер. Все указанные различия выступают, конечно же, как относительные и градуальные.

Есть еще одна особенность, тоже ассоциированная с языками традиционалистских культур, в особенности Юго-Восточной Азии и Западной Африки: использование так наз. серийных конструкций¹⁸. Под сериальными конструкциями имеются в виду цепочки глаголов, неоформленных или имеющих общее (иногда одинаковое) оформление, которые обычно соотнесены с одним и тем же актантом (набором актантов). Феномен сериализации объясняют по-разному. Одни исследователи ставят во главу угла диахронические аспекты; так, Т. Гивон говорит о "медленном процессе реинтерпретации, при котором описание события – т.е. пропозиция – сначала конструируется посредством конкатенации малых пропозиций, где в целом устанавливается одно-однозначное соотношение

между именными аргументами и глаголами... Со временем; однако, глаголы, *кроме одного*, подвергаются грамматикализации..."¹⁹. Другие авторы акцентируют синтаксическую сторону проблемы, описывая сериальные конструкции как результат своего рода синтаксического наложения, когда такая конструкция появляется в силу "сочленения" тождественных актантов²⁰ (ср. распространенные интерпретации конструкций с традиционными "однородными членами предложения"). В этом случае, например, вьетнамское предложение *Ông đý kхиêng bao gạo vào nhà* "Он внес мешок риса в дом" будет интерпретироваться как результат "наложения" предложений *Ông đý kхиêng bao gạo* "Он нес мешок риса" и *Ông đý vào nhà* "Он вошел в дом".

Сериальные конструкции многофункциональны: "дополнительные" глаголы в составе цепочки могут и открывать места для "дополнительных" актантов (с тенденцией грамматикализации – пренращения в предлоги/последоги), и передавать всякого рода значения, родственные темпоральным, аспектуальным и т.п. (онять-таки с возможностью грамматикализации), и просто указывать на акциональные или статальные "компоненты (subparts), ... аспекты единого сложного (overall) события"²¹. Однако, возможно, многофункциональность эта – скорее внешняя: в основе, как правило, лежит именно поверхностное выражение более или менее детализированной семантической структуры, отвечающей описываемой ситуации, и лишь сопоставление с языками "западного" типа, а также возможность грамматикализации создает впечатление разнообразия функций.

Действительно, по крайней мере в прототипических сериальных конструкциях наподобие вьетнамской, приведенной выше, можно видеть некоторое приближение к той самой структуре означаемого, которая дается семантическим толкованием. Еще примеры, на этот раз из бирманского языка: *ဦး ဗာ* "убить (напр., самолет)", *ကို မှာ* "загрызть"; в первом случае употреблено сочетание глаголов с семантикой "бросить, стрелять" + "ронять", во втором – "кусать" + "убивать". И здесь мы видим, что глагольные цепочки обнаруживают близость к семантическим конструкциям, которые мы получили бы, если бы предприняли семантическое толкование русских глаголов *сбить*, *загрызть*, которые и называют соответствующие ситуации "целиком".

Иначе говоря, глубинная особенность serialных конструкций – линейное лексическое представление семантических компонентов, отвечающих сложной ситуации, "несвертывание" этих компонентов в означаемом единого лексико-грамматического комплекса²².

Эта тенденция к линеаризации смыслов сказывается не только в сфере глагольных конструкций; чрезвычайно широко используются также именные (по своему опорному, ядерному компоненту) конструкции, образуемые простым соположением, конкатенацией имен и глаголов, отвечающих "элементарным смыслам", ср. бирм. *လူဆေးခါ* "портфель", букв. "рука + тянуть + сумка" и мн. др.

Кажется вполне оправданным рассматривать тенденцию к линеаризации смыслов в качестве релевантного культурного феномена. Более того, в этой тенденции можно усмотреть связь с обсуждавшейся выше "диалогоцентричностью" традиционалистских культур. Как мы помним, внеязыковым базисом тех признаков, которые отличают диалогоцентричные культуры, выступает высокая степень общности информационного фона у участников коммуникации. Общность ментального тезауруса, в свою очередь, легче обеспечить языковыми средствами тогда, когда язык располагает лексическим инвентарем относительно небольшого объема, компенсируя это развитой системой правил комбинирования лексических единиц. В результате мы и получаем в соответствующих языках разнообразные цепочки лексем, где языки иных типов, принадлежащие иным культурам, используют отдельные производные и сложные слова, словоформы.

Разумеется, настоящие краткие заметки предлагают лишь некоторые штрихи к той чрезвычайно сложной картине, которую является собой соотношение языка и культуры. Чтобы получить эту картину, понторим еще раз, необходимо во многом по-новому подойти как к типологии культур, так и к типологии языков.

Примечания

¹ *Heiman J. Natural syntax: Iconicity and erosion.* Camb. e.a., 1985. P. 259–260.

2 *Lee Hyun O., Bester F.J.* Collectivity-individualism in perception of speech rate: A cross-cultural comparison // *J. of cross-cultural psychology*. 1992. Vol. 23, № 3.

3 *Уорф Б.Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку// Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960. С. 140.

4 Там же. С. 168.

5 *Сепир Э.* Язык. М., 1943. С. 172.

6 *Касевич В.Б.* Язык и знание // Язык и структура знания. М., 1990.

7 Ср.: "Структура большой системы (языка. — В.К.) поддается существенному изменению лишь очень медленно, в то время как во многих других областях культуры изменения совершаются сравнительно быстро. Язык, таким образом, отражает массовое мышление, он реагирует на все изменения и нововведения, но реагирует слабо и медленно, тогда как в сознании произходящих изменений 'что происходит моментально'" (Уорф Б.Л. Указ. соч. С. 164).

8 См.: *Denny J.P.* Locating the universals in lexical systems for spacial deixis // Papers from the Parasession in the Lexicon, Chicago Linguistic Society. Chicago, 1978; *Perkins R.D.* The covariation of culture and grammar // Studies in syntactic typology / Ed. by M. Hammond et al. Amsterdam; Philadelphia, 1988 и др. работы.

9 См. *Carneiro R.L.* Scale analysis, evolutionary sequences, and the ratings of cultures // A handbook of method in cultural anthropology / Ed. by R. Narro et al. N.Y., 1973.

10 *Perkins R.D.* Op. cit. Г. 364 (fig. 1).

11 *Keenan E.L.* (Discussion of his paper) // Origins and evolution of language and speech: Annals of the New York Academy of Sciences / Ed. by S.P. Harvard et al. N.Y., 1976. Vol. 280.

12 *Denny J.P.* Op. cit.

13 Ту же оппозицию описывают как противопоставление архаической современной культуры, что иногда вызывает нежелательные оценочные коннотации.

14 *Do Thi Bich Lai.* Контекстная связь языковых единиц в языках разной типологии (на материале вьетнамского и русского языков); АКД. Л., 1990. Заметим, что вьетнамская культура в материалах Перкинса получает высший балл по уровню сложности; это выглядит вполне естественно, но кажется столь же естественным, что тип вьетнамской культуры в рамках некоторой общей классификации, в частности той, что ранжирует

культуры по выраженности традиционализма, будет заметно отличаться от типа русской культуры.

15 Перкинс тоже учитывает роль письменности.

16 По словам Алайды и Яна Ассмана, "устная речь и письменная – это отдельные миры" (цит. по: *Kippenberg H.G. The problem of literacy in the history of religions //Numen: Intern. review for the history of religions*. 1992. Vol. 39, fasc. 1, P. 103). Дж. Гуди обращает внимание на то, что письменная фиксация, среди прочего, способствует превращению имплицитного знания в эксплицитное (*Goody J. The logic of writing and the organization of society*. Camb., 1968). Иначе говоря, мы имеем здесь дело как бы с эксплицированием второго порядка, ибо уже сам по себе язык предстает собой мощное средство преобразования континуального в дискретное, дискурсивное – т.е. более эксплицитное. Тот же Гуди указывает на ролеванность письменности для типа конфессии: традиции, обладающие письменным каноном, выступают религиями приобщения и обращения, в то время как бесписьменные традиции – "религиями по рождению" (*Goody J. Op. cit. P. 4 seq.*).

17 Мы не касаемся особенностей текстов, зафиксированных с помощью магнитной записи и иных технических средств, позволяющих хранение и воспроизведение звучащей речи; это – отдельная проблема.

18 Из последних работ, посвященных угому грамматическому явлению, укажем на такие, как: *Bisang W. Verb serialisation, grammaticalization and attractor positions in Chinese, Hmong, Vietnamese, Thai, and Khmer // Partizipation: Das sprachliche Erfassen von Sachverhalten / Hrsg. von H. Seiler u. W. Preimper*. Tübingen, 1991; *Kuhn W. Serial verbs and serial verb constructions: On the linguistic reconstitution of situations*. Hamburg, 1992.

19 *Cinón T. On understanding grammar*. N.Y. e.a., 1979. P. 220.

20 *Foley W.A., Van Valin R.D. Functional syntax and universal grammar*. Camb., 1984; *Baker M.C. Object sharing and projection in serial verb constructions //Linguistic inquiry*. 1989. Vol. 20, № 4.

21 *Lord C. Serial verbs in transition //Studies in African linguistics*. 1973. Vol. 4. P. 269.

22 В то же время нет оснований утверждать, как это делает Гивон (см. выше), что вserialной конструкции устанавливаются одно-однозначное соотношение производителей и аргументов: что означало бы в сущности, что все глаголы соответствующих языков одновалентны, хотя такого положения в действительности не существует.

ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Л. Ельмслев считал, что только в типологии лингвистика достигает статуса науки¹. Типология при этом понимается как классификационное пространство языка или как классификация языковых явлений на разных уровнях абстрагирования. Хотя не раз предпринимались попытки разграничить понятия *типовология* и *классификация* (в качестве одной из наиболее успешных можно привести попытку противопоставить типологию классификации как классификацию, выявляющую конструктивные принципы ее составляющих²), эти понятия остаются до сих пор почти синонимами, различаясь лишь ориентацией на герменевтическую или естественнонаучную традиции.

Задача настоящей работы состоит в том, чтобы обрисовать историческую перспективу развития некоторых идей, лежащих в основе построения классификации и соответствующего типологического представления. Оставляя в стороне анализ особенностей классификации, выработанной в мифопоэтической картине мира³, и способы ее преобразования в философскую систему, наблюдающиеся у ранних греческих философов⁴, обратим внимание на систему, в которой одной из доминирующих задач было построение классификации — на систему, построенную Аристотелем.

Аристотель считал, что можно классифицировать *все субстанции*, а другие явления, например искусственные образования, можно классифицировать *как если бы* они были субстанциями⁵. Объекты классификации упорядочиваются по признакам — атрибутам, которые задаются определениями. Чтобы найти способ построения удовлетворительных определений, Аристотель разрабатывает исчисление предикатов. Среди предикатов особое место

занимают род (*genus*), свойство (*proprium*) и фактически включенная им в этот список *differentia specifca* ("будучи родовой по своему характеру, она должна рассматриваться вместе с родом" б).

Классическое представление об определении объекта как о соотнесении его названия с родовым обозначением и указании его специфических признаков включает у Аристотеля положение об экстенсиональной эквивалентности определяемого – *definiendum* и определяющего – *deficiens*, как в примере Аристотеля: 3 – *минимальное, нечетное* (в то время 1 считалась началом чисел и потому во множество чисел не входила). При этом внимание обращается главным образом на отношение импликации, которым соединяются обозначения рода и вида – *три* со своим специфическим признаком минимальности принадлежит к РОДУ нечетных чисел – род *нечетных чисел* оказывается ВИДОМ чисел.

Импликация определяется Аристотелем формально – если из А следует В, но из не-А не следует не-В. Например, из *я вижу волка* следует *я вижу зверя*, но из *я вижу не волка* не следует *я вижу не зверя*. В Постаналитиках Аристотель определяет правила, следуя которым мы получим правильное последовательное разделение наиболее общего рода на виды вплоть до *infima species* – мельчайших единиц, не поддающихся дальнейшему анализу. Это связано с определением на каждом шаге соответствующей *differentia specifca*.

Порфирий, комментируя Категории Аристотеля, придает классификации Аристотеля форму дерева – и логические отношения получают таким образом графическое представление. Порфирий называет пять видов предикатов – род, вид, дифференциальный признак – *differentia*, свойство и акциденцию – признак, который может быть и не быть. Анализируя систему Порфирия, У. Эко приходит к выводу, что Порфирий предполагает существование ДЕСЯТИ ДЕРЕВЬЕВ – одно дерево для субстанций (согласно этому дереву *человек – это разумное смертное животное*) и девять деревьев для других девяти категорий. Дерево же, объединяющего эти десять деревьев, в системе Порфирия не существует, так как считаются, что бытие – это не объединение родов, но *genus*⁷.

У. Эко отмечает конечность множества родов и видов для дерева субстанций у Порфирия и то, что относительно других деревьев проблема конечности целиита – Порфирий явно избе-

гает говорить об этом⁸. Такая позиция здесь вполне естественна — ведь Аристотель явно строил свою классификацию в частности и для того, чтобы преодолеть выявленные тогда парадоксы, связанные с бесконечностью. Порфирий подчеркивает замкнутость дерева субстанций по крайней мере в логическом отношении — дерево ветвится, пока не будет ограничено снизу элементами, относящимися к минимальным составляющим — *species specialissime*, а сверху — максимальным элементом — *genus generalissimus* — именем категории, которая не может быть видом чего-либо еще.

Акцидентные признаки в дереве не учитываются, свойства же — *propria* — занимают промежуточное положение между акцидентными признаками и дифференциальными — *differentia*. Свойства принадлежат видам, но в определения они не входят.

Порфирий выделяет четыре класса свойств.

1. Свойство может характеризовать определенный вид, но при этом отсутствовать у некоторых членов данного вида. Так, например, свойство *лечить людей и животных* встречается лишь у людей, хотя и не у всех.

2. Свойство может характеризовать некоторый вид целиком, но при этом быть характерным и для другого вида. Так, *двуногость* характеризует не только вид человека, но и вид птиц.

3. Свойство может характеризовать весь данный вид и только данный вид, но проявляться при этом только у отдельных его членов и в определенное время. Например, *способность седеть* у человека (может быть, при Порфирии собаки не седели).

4. Свойство может характеризовать весь данный вид и только данный вид и при этом всегда, как например *способность смеяться* у человека. Такие свойства экспонсионально эквивалентны обозначению вида — *только люди способны смеяться и смеющиеся — это люди* — пример Порфирия, ставший классическим. Что мешает считать это свойство дифференциальным признаком — *differentia*? Почему такое экспонсионально эквивалентное отношение признаков Порфирий все-таки не считает *differentia*?

Differentia согласно Порфирию может быть *отделяемой* — как например признак человека — *больной*, и *неотделяемой* — как например, такие признаки человека как *смертный, способный приобрести знания*. Неотделяемые дифференциальные признаки могут быть согласно Порфирию акцидентными, как например *орлиный нос* у человека.

Differentia, неотделимая per se, является *differentia specifica* и именно она определяет отношение рода и вида. Так, для человека *differentia specifica* – это *смертный, разумный*. Перевод, представляющее последовательность импликаций отношений рода и вида для определения человека, выглядит у Порфирия следующим образом.

<i>Differentiae</i>	<i>Genera</i>	<i>Differentiae</i>
	Сущность	
телесная	бестелесная	
одушевленное	неодушевленное	
существующее	нечувствующее	
чувствующее	животное	
разумное	неразумное	
разумное	разумное животное	
смертное	бессмертное	
человек	бог	

Differentia specifica, рассматриваемая с точки зрения анализа, т.е. выделяющая в роде вид, называется *выделяющей*. С точки зрения синтеза она образует из одного рода род более высокого ранга и называется *образующей*. Так, признак *смертный–бессмертный* является выделяющим по отношению к роду **ЖИВОТНОЕ РАЗУМНОЕ**, разделяя его на виды **ЧЕЛОВЕК** и **БОГ**¹. Однако этот признак может рассматриваться и как образующий признак, а именно признак, объединяющий видовые классы **ЧЕЛОВЕК** и **ЖИВОТНОЕ** в родовой класс **ЖИВОЕ СУЩЕСТВО**. Тогда признак *разумный–неразумный* будет разделяющим признаком по отношению к этому классу и выделит классы **ЧЕЛОВЕК** и **ЖИВОТНОЕ**.

Это значит, что при определенных условиях последовательность *differentia specifica* может меняться. Порфирий обратил внимание и на то, что одна и та же *differentia specifica* может характеризовать различные родовые классы, как например *четвероногость* характеризует многих животных, хотя они и относятся к разным видам.

Вид как класс у Аристотеля приравнивается к сумме *genus* и *differentia specifica*. Но тогда и *genus* – род – должен стать суммой *genus generalissimus* и *differentiae specifica*.

Таким образом, уже дерево Порфирия НЕ ЯВЛЯЕТСЯ строго упорядоченной иерархической структурой⁹.

Количество дифференциальных признаков – *differentia specifica* – согласно Аристотелю не может быть известно *a priori*. У.Эко, исследовав проблему дерева Порфирия, пришел к выводу, согласно которому понятие дифференциального признака скрывает в себе оксюморон – дифференциальный признак является *сущностной акциденцией*¹⁰.

Этот парадокс решает Фома Аквинский: “*in rebus sensibilibus etsi ipsae differentiae essentiales nobis ignotae sunt- unde significantur per differentiae accidentales quae ex essentialibus oriuntur, sicut causa significatur per suum effectum, sicut bipes ponit differentia hominis*”¹¹.

У.Эко замечает: “*Essential differences cannot be known directly by us – we know (we infer!) them by semiotic means, through the effects (accidents) they produce, and these accidents are the sign of their unknowable cause*”¹². Так, дифференциальный признак *разумности* оказывается согласно Фоме Аквинскому только потенциальным признаком, который может и не проявиться, т.е. является по существу акциденцией. Так что “*The tree of genera and species, the tree of substances, blows up in a dust of differentiae, in a turmoil of infinite accidents, in a nonhierarchical network of qualia*”¹³.

Тем не менее система Аристотеля долгое время была системой отсчета во всех естественных науках и даже приобрела ореол системы здравого смысла. Наивысшее достижение, полученное в рамках этой системы – классификации в биологии от Чезальпино до К.Линнея и даже более поздние – вплоть до Дж.Хаксли. Здесь не место обсуждать причины и следствия этого явления – лучше обратиться к альтернативным решениям проблемы классификации или, как это принято в современной биологии, проблемы ГАКСОНОМИИ – т.е. построения классификации объектов не на основе их “сущности”, выраженной в определениях, а на основе исследования объектов в рамках определенного языка описания с точки зрения их сходства или различия. За этим скрывается, конечно, отход от Аристотелевского эссециализма и обращение к другой философии¹⁴.

Одним из первых, кто сформулировал и стал пытаться решить эту задачу, был М. Адансон (1727–1806). Уже в первой своей работе, где он пытался построить классификацию моллюсков, которых он изучал во время своих экспедиций в районы Сенегала, М. Адансон в рамках аристотеловской классификации столкнулся с серьезными методологическими и практическими трудностями.

Он понял, что в эмпирической работе натуралиста невозможно руководствоваться логическими схемами, предполагающими различение *differentia specifica*, акциденции и свойства (*proprium*), что для начала необходимо считать ВСЕ признаки равно ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ. Классы же – или типы – следует выделять на основании сравнительного СХОДСТВА их между собой. Он писал: “*Je me contenterai de rapprocher les objets suivant le plus grand nombre des degrés de leurs rapports et de leur ressemblances... Ces objets ainsi réunis, formeront plusieurs petites familles que je réunirai encore ensemble, afin d'en faire un tout dont les parties soient unies et liées intimement*”¹⁵.

М. Адансон создавал классификацию-таксономию-типовую моллюсков, понимая, что диагностические признаки классов можно будет выделить только позднее, когда материал предстанет в сравнительной полноте – это, надо сказать, было ясно и К. Линнею. М. Адансон сформулировал и принцип, согласно которому естественный класс образуется на основе сравнительно большого количественного сходства по признакам входящих в него объектов, при чем может и не быть признака, характеризующего все объекты данного класса: “*d'où il résulte qu'il seroit possible qu'une class fût très-naturelle, et qu'il n'y eut pas un seul caractère commun à toutes les espèces qui la composent*”¹⁶.

Почему эта теория не увенчалась тогда успехом, почему она получила признание только во второй половине двадцатого века? Конечно, было еще немного материала – не хватало существенных звеньев для установления иерархии классов, но главная трудность состояла в том, что предстояло разработать чисто количественные способы определения меры сходства между объектами и построить процедуры автоматического объединения объектов в классы и определения иерархии этих классов. Но уже А.Н. де Кандоль в 1813 г. отмечал, что классификация М. Адансона все же более естественна, чем все предыдущие разбиения.

В середине прошлого века произошла смена научной парадигмы, но в плане интересующего нас объекта теория Ч. Дарвина привела лишь к замене терминов, ориентировавших теперь не на существенные признаки, а на признаки, свидетельствующие о степени родства объектов.

Как писал еще в 1919 г. А. Ноф “... und was Haeckel und die Phylogenetiker zunächst getan haben, war nichts anderes als die Übersetzungen der speziellen Einsichten, die sich an diese Lehre früher geknüpft hatten, in eine Sprache durch Anwendung einer neuen Terminologie, ohne doch die Lehre selbst einer Vertiefung zuzuführen oder einer kritischen Betrachtung zu unterwerfen. Auch die – wenig abgeklärten – Grundbegriffe der alten Morphologie wurden von Haeckel einfach in die neue Sprache übersetzt, die dem Wesen nach eine genealogische war. Dabei wurde dann

aus Systematik	Phylogenetik,
aus Formverwandtschaft:	Blutverwandtschaft,
aus Metamorphose	Stammesentwicklung,
aus systematischen Stufenreihen	Alinenreihen,
aus Typen	Stammform,
aus typischen Zuständen	ursprüngliche,
aus atypischen	abgeänderte,
aus niederen Tieren	primitive,
aus atypischer Ähnlichkeit	Konvergenz,
aus Ableitung	Abstammung usw. usw.”. ¹⁷

Разработанность факторного анализа, а затем класса методик, известных под общим наименованием кластерного анализа, позволила подойти к решению задач классификации-типологии-таксономии с новым вооружением. Исследование функций расстояния и методов вычисления расстояния между произвольными объектами облегчило создание алгоритмов автоматического установления классситипов и построения их иерархии. Применение компьютеров создало условия для реализации этих алгоритмов на массовом материале. Работой, подытоживающей первый этап и определяющей дальнейшие пути развития классификации-типологии-таксономии в универсальном, но зависящем от конкретной природы объектов, плане, явилась книга Р.Р. Сокала и П.Х.А. Снита¹⁸.

В этом же русле шло развитие и количественных методов, и структурной типологии в науке о языке — см. обзор и анализ полученных к тому времени результатов¹⁹. Последние же 20 лет по своей насыщенности, может быть, оказываются сопоставимыми со всем предшествующим развитием теории и практики классификации и нуждаются в специальном исследовании.

Примечания

- 1 Hjelmslev L., *Die Sprache. Eine Einführung*, Darmstadt, 1968, 113.
- 2 Altmann G., Lehfeldt W. *Allgemeine Sprachtypologie. Prinzipien und Messverfahren*. Wilhelm Fink Verlag München, 1973, 15—16.
- 3 Иванов В.ч., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- 4 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М. 1978.
- 5 Метафизика, 1043б21, 1072а-б.
- 6 Топики 1.101б20.
- 7 Eco U. *Semiotics and the Philosophy of Language*. University Press, Bloomington, 1984, 59.
- 8 Там же.
- 9 Eco U. Op. cit., 66.
- 10 Eco U. Op. cit., 67.
- 11 De Ente, 6.
- 12 Eco U. Op. cit., 67.
- 13 Eco U. Op. cit., 68.
- 14 Altmann G., Lehfeldt W. Op. cit. P. 21.
- 15 Adanson M. *Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages. Avec la relation abrégée d'un voyage fait en ce pays, pendant les années 1749, 50, 51, 52 et 53*. Bauche, Paris, 1757. P. XI.
- 16 Там же.
- 17 Naef A. *Idealistische Morphologie und Phylogenetik*. Jena, P. 35—36. 1919.
- 18 Sokal Robert R., Sneath Peter H.A. *Principles of Numerical Taxonomy*. W.H. Freeman and Company, San Francisco, 1963.
- 19 Altmann G., Lehfeldt W. Op. cit.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Методологические проблемы сопоставительного словообразования славянских языков можно свести, триivialно говоря, к решению задачи поиска и применения объективного метода описания исследуемых объектов. Начиная с 70-х годов в славистической литературе по словообразованию наблюдается тенденция к пересмотру понятийного аппарата и подходов к интерпретации изучаемого материала. Этот процесс происходит в тесной связи с возникающими и бурно развивающимися в течение последних 20 лет новыми теориями языка, в частности, с порождающей семантикой¹ и с моделью "Смысл ↔ Текст" Мельчука, Апресяна и Жолковского². В соответствии с повышенным интересом к моделированию языка вообще делаются попытки описать словообразование с помощью моделей. Пока еще детальные модели словообразования не разработаны, но имеются интересные результаты отдельных исследований в этой области³.

Первая известная мне попытка описания словообразования на материале одного из славянских языков (существительных мутационного типа в польском языке) в рамках порождающей модели языка представлена в статье Лясковского 1973 года. В самых общих чертах в этом духе задумано было описание системы польского словообразования⁴. Для теоретического словообразования представляет интерес недавняя обширная работа Мельчука 1990 года, в которой на материале русского языка дана характеристика словообразовательных правил в моделях типа "Смысл ↔ Текст". Более детальных моделей словообразования в отдельных славянских языках пока еще нет. Не существует также сопоставительного описания славянского словообразования в рамках подоб-

ных концепций, хотя попытки моделирования здесь делались. Укажем, в первую очередь, работу Балтовой и Сытковского⁵, не опубликованный доклад Каоляка⁶, а также статью Земской, Ермаковой, Рудник-Карват⁷, в которых представлена возможность использования предикатно-аргументных структур (и семантических ролей аргументов) при изучении, главным образом, сопоставительных мутационного типа в славянских языках.

Именно метод моделирования заслуживает серьезного внимания в словообразовательных исследованиях. Мы считаем, что сопоставительное словообразование может быть описано объективно только с помощью моделей. При сравнении языковых явлений, впрочем, и при любом сравнении как мыслительном процессе, сопоставляемые объекты относятся к третьей величине – основе сравнения. Исходная база сравнения (*tertium comparationis*, или язык-посредник) не может формулироваться на основании свойств одного из данных языков. Она должна определяться характеристиками всех (двух или больше) языков, как нейтральная и объективирующая сущность. Этим требованиям удовлетворяет выдвинутая в качестве *tertium comparationis* модель общего языка. В ней воспроизведены свойства и поведение всех языков, что позволяет всесторонне изучать языковые процессы в сопоставительном плане. Таким образом, *tertium comparationis* не имеет интуитивного характера. Оно встроено в целостную теорию сопоставительного описания языков и представлено как модель языкового механизма.

Моделирование словообразования и языка вообще связано с альтернативным направлением: от семантики к форме или от формы к семантике. Иными словами, отправной точкой может быть смысл (тогда нас интересуют семантические правила словообразования) или форма (в этом случае интересуемся формальными, в принципе, но также возможно семантическими, критериями распределения словообразовательных средств). Выбор точки отсчета (т.е. направления, ориентации модели) определяется исследовательской задачей. При сопоставительном изучении словообразования предпочтительнее первое направление, потому что оно соответствует процессу образования слов, происходящему от смысла к тексту. Таким образом, обосновывается вскрытие механизма

славянского словообразования. Исходя из семантики исследователь имеет возможность глубоко и всесторонне изучить объем и содержание понятий, реализующихся словообразовательными средствами. Одновременно такое решение создает предпосылку для выявления семантических правил образования лексем (дерибатов и сложений). Данный подход представляет один из аспектов языковой (речевой) деятельности, а именно то, как мы говорим, как происходит порождение слов. Иными словами, направление от смысла к тексту соответствует синтезу⁸. Напомним, что такое направление исследования как основная исходная позиция постулировалась еще М. Докулилом⁹.

Укажем, с другой стороны, на недостатки противоположного направления – от формы к смыслу. Прежде всего, при таком подходе утрачивается конфронтационный аспект исследования. Сосредоточение внимания на различных критериях дистрибуции формальных словообразовательных средств (даже в одном языке они неоднородны) влечет за собой разбиение картины славянского словообразования на отдельные фрагменты. Вместо того чтобы исследовать в сопоставительном плане все явления во взаимосвязи, изучаются отдельные атомарные явления. Правила распределения формальных средств должны быть раскрыты, но этого недостаточно для сопоставительного представления системы словообразования в славянских языках. Словообразование – как и язык вообще – это система иерархически сформулированных правил. Их упорядоченность достигается в специально созданной модели словообразования в рамках языковой модели семантика → форма.

В общих чертах исходной точкой в нашей модели являются долексические элементарные предложения (ЭП), семантически полные и автономные единицы, содержащие только облигаторные семантические компоненты: непроизводные предикатно-аргументные структуры (ППАС), также с предикатами высшего ранга, темпоральность (немаркированную Фасисно) и немаркированную модальность¹⁰. Процедура описания сводится к характеристике ППАС и выявлению механизмов преобразования ППАС в ППАС. Затем приподняются морфологические правила выражения предикатно-аргументных структур и актуализаторов высказывания: темпоральности, модальности, ‘я’ (говорящего), ‘ты’ (слушающего) и темо-рематического компонента. Иначе говоря, представляются пра-

вила синтеза, обеспечивающие преобразование семантических структур в одну (морфологически сложную) лексему.

Типы НПАС предопределяются семантическими свойствами предикатов, отражающимися в количестве и типах открываемых позиций аргументов, а также в семантических признаках аргументов. Между предикатами и аргументами существует органическая связь¹¹. Предикат играет в НПАС центральную роль как конституирующий компонент, требующий сопровождающих его аргументов и определяющий типы отношений к нему этих аргументов (каузатор, агенс, нацианс, бенефицианс, экспериенцер, результат, локатив, инструмент, материал). Аргумент (или аргументы), обладающий референцией, является имплицированным компонентом НПАС, занимающим место при конституирующем компоненте.

НПАС могут служить основой для разных операций, порождающих производные структуры ППАС. Наиболее интересны для нас, в связи с принятым методом описания, операции, которые традиционно определяются как мутация. Ниже мы представим некоторые проблемы сопоставительного описания существительных мутационного типа. Исчерпывающее описание должно учитывать также другие семантические элементы, т.е. темпоральность, модальность, говорящего и слушающего, тему и рему, но мы ограничимся здесь пропозицией.

Исходя из НПАС, мутацию существительных относим к операции заполнения определенного места аргумента. В процессе коммуникации семантическое место аргумента называется опосредованно, через отношение с другими компонентами НПАС. На поверхностном уровне выражается комбинация двух или трех компонентов: а) аргумента и предиката или б) аргумента и какого-то другого аргумента или в) аргумента, предиката и другого аргумента, причем словообразовательной базой служит один (или больше – в сложениях) предикат или аргумент. Это общий для славянского словаобразования механизм альтернативной комбинаторики. Напр., при НПАС агентивного типа агенс комбинируется и с предикатом, и с имплицированными им аргументами, но словообразовательное воплощение получает или комбинация агента с предикатом (рус. *носильщик*, чеш. *posíč*), или агента с аргументом

(пол. *bagażowy*, *drwal*), или агента с предикатом и другим аргументом (рус. *лесоруб*, чеш. *dřevorubec*). Иными словами, возможности порождения агента определяются целой совокупностью отношений внутри типовой агентивной НИАС. Из закрытого числа допустимых комбинаций агента с другими семантическими компонентами НИАС пять относятся к комбинациям с разными аргументами: с пациентом $Ag(Pat)$ – рус. *масник*, пол. *drwal*, чеш. *včelař*; с объектом $Ag(Ob)$ – рус. *рыбак*, пол. *rybak*, чеш. *rybář*; с инструментом $Ag(I)$ – рус. *балалайчик*, пол. *dudziarz*, чеш. *houslista*; с материалом $Ag(Mat)$ – рус. *бетонщик*, пол. *blacharz*, чеш. *zlatník*; с местом $Ag(Loc)$ – рус. *гардеробщик*, пол. *salowa*, чеш. *bufetářka*.

Словообразовательная категория (СК) агента по отношению к другим "аргументным" СК характеризуется наибольшим структурным многообразием. При порождении слов, представляющих другие СК, реализуется меньше комбинаций данного аргумента с другими аргументами. Здесь различаются две ситуации: 1) Ограничение имеет системный семантический характер, напр. при НИАС бенефициентного типа невозможна комбинация бенефициента ни с локативом, ни с инструментом, ни с материалом, ни с результатом и под.; 2) Семантических запретов комбинации не существует. Семантическое место аргумента занято другими словами, прежде всего расчлененными названиями, напр., $Loc(I)$ пол. *hala maszyn* ‘зал, в котором печатают на (с помощью) пишущих машинках; машинописный отдел’. Отметим, что в польском и русском языках не реализуется СК места с встроенным инструментом.

Различия между языками в выборе комбинации обусловлены разными факторами. Прежде всего назовем внутриязыковые. Например, $Ag(I)$ – где Предикат – рус. *носильщик*, чеш. *posíť*, и, с другой стороны, $Ag(Pat)$: пол. *bagażowy* – реализации $Ag(P)$ в польском языке мешает омонимичная лексема *posacz* ‘посатая обезьяна’; $Ag(Pat)$: пол. *drwal*, *pszczytarz*, чеш. *včelař* и $Ag(PatI)$: рус. *лесоруб*, *пчеловод*, чеш. *dřevorubec* – здесь обнаруживается пристрастие русского языка к словоисложению и отсутствие такой склонности в польском, чешский занимает между ними промежуточное место, ближе к русскому.

Кроме внутриязыковых есть еще другие причины различия между языками в этом отношении. Они имеют не чисто языковой характер, а национально-культурный, или этносоциальный. В этом плане интересны случаи, когда выбранная всеми языками одна и та же комбинация проявляется в отдельных языках неодинаковую словообразовательную силу. Так, для русского языка в рамках Loc(Pat) очень характерны названия разных видалищ: *сосудов, ящиков* и т.п., напр.: *кофейник, молочник, сливочник, супница, утятница, чайница, уксусница/уксусник, галошица* и др., тогда как в других славянских языках они немногочисленны. Русский язык отличается от других славянских также большей продуктивностью группы названий закусочных, столовых, входящих в состав Loc(Pat), напр.: *шашлычная, котлетная, колбасная, пельменная, сосисочная, бутербродная* и др. (по сравнению с русским языком — отвлекающиеся от способа и средств выражения — впольском и чешском меньше подобных названий, напр.: пол. *ciastkarnia, kawiarnia, winiarnia, herbaciarnia*, чеш. *kavárna, vinárna, čajovna* и под.).

Таким образом, применяя при сопоставлении языков общие схемы типовых ИПАС с вычислительными ролями аргументов (выше мы обратили внимание только на схему агентивного типа), можно обнаружить универсальный механизм образования мутационных существительных: 1) Все роли аргументов (их инвентарь тождественен для славянских языков) реализуются в лексемах, объединенных в СК; 2) СК выявляют альтернативную комбинаторику компонентов ИПАС: аргумент (: предикат)/аргумент (: аргумент)/аргумент (: предикат и аргумент); 3) Вся возможная для данного типа ИПАС комбинаторика представлена в СК агента, ограниченную комбинаторику выявляют СК национаса и СК места.

Мы представили, в общем виде, принципы и постулаты, относящиеся к моделированию в словообразовании. Были отмечены некоторые проблемы, связанные с представлением словообразования славянских языков в языковой модели смысл —→ форма.

Примечания

¹ Lakoff G. 'On Generative Semantics' // *Semantics*. Cambridge, 1971; Fillmore Ch. 'The Case for Case' // *Universals in Linguistic Theory*. New York, 1968; Fillmore Ch. 'Types of Lexical Information' // *Studies in Syntax and Semantics*. Dordrecht, 1969; Fillmore Ch. 'Verbs of Judging. An Exercise in Semantic Description' // *Studies in Linguistic Semantics*. New York, 1971 и др.

² Жолковский А.К., Мельчук И.А. О возможном методе и инструментах семантического синтеза // Научно-техническая информация, 1965, № 6; Жолковский А.К. О правилах семантического анализа // Машинный перевод и прикладная лингвистика, 1964, выш. 8; Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ↔ Текст". М., 1974; Апрескин Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967; Апрескин Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974 и др.

³ Laskowski R. Struktura formalna a struktura semantyczna rzeczników słowotwórczo podzielnych // *Studia semiotyczne*. T. IV, 1973; Aronoff M. Word Formation in Generative Grammar. Cambridge, 1976; Барулин А.Н. Место модели словообразования в общей модели языка // Тезисы рабочего совещания по морфеме. М., 1980; Wróbel H. Możliwości i ograniczenia opisu struktur słowotwórczych w modelu językowym znaczenie → forma // Typy opisów gramatycznych języka. Wrocław, 1983; Dressler W. Word Formation (WF) as a Part of Natural Morphology. Amsterdam – Philadelphia, 1987; Мельчук И.А. Словообразование в лингвистических моделях типа "Смысл ↔ Текст" // Metody formalne w opisie języków słowiańskich. Białystok, 1990 и др.

⁴ Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa, 1984. (Раздел: Словотворство).

⁵ Bartłowa J., Siatkowski J. Konfrontatywny opis słowotwórstwa języków blisko spokrewnionych // Z polskich studiów slawistycznych. Językoznanstwo. Warszawa, 1988. Seria 7.

⁶ Karolak S. Syntaktyczne podstawy słowotwórstwa. Конференция в Институте славяноведения ПАН в Варшаве, 1990.

⁷ Земская Е.А., Ермакова О.Н., Рудник-Карлат З. Теоретические проблемы союзоставительного изучения словообразования славянских языков (семантико-функциональный аспект) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Братислава, 1993. Доклады российской делегации. М., 1993.

8 См.: Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл — Текст". М., 1974.

9 Dokulil M. Ke koncepcii porovnávání charakteristiky slovenských jazyků v oblasti "tvorenií slov" // Slovo a slovenstvo, 1963, XXIV, 2.

10 См.: Karolak S. Składnia wyrażeń predykatywnych // Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Warszawa, 1984; Karolak S. Z problematyki opisu wyrażeń predykato-wowo-argumentowych // Studia gramatyczne. Wrocław, 1977.

11 Bogusławski A. O analizie semantycznej // Studia semiotyczne. IV. Wrocław, 1973.

Е.И. Демина

К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ НА ГРАММАТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Интерференция на грамматическом уровне – сравнительно редкий и сложный случай языкового взаимодействия. Если интерференция на лексическом и словообразовательном уровне затрагивает, обраziю говоря, сам "строительный материал", т.е. нечто "индивидуальное, существующее в памяти как таковое и по форме никогда не творимое в момент речи"¹, то интерференция на типовом, грамматическом уровне существенным образом оказывается на самой системе действующих в момент речи правил создания и функционирования языковых единиц, определяют само исходное начало, организующее речевую деятельность, творческие процессы говорения и понимания. В своих истоках интерференция на грамматическом уровне, как представляется, связана с преодолением противоречий между закономерностями порождения высказывания, действующими в одном из находящихся в условиях длительных контактов языков, и правилами порождения текста, действующими в другом языке в аналогичных условиях, в той же информативной и коммуникативной ситуации. Иными словами, об интерференции на грамматическом уровне, очевидно, речь может идти при наличии изменений на уровне модели языкового осмысления и представления иноязыковой действительности у носителей одного языка под влиянием модели осмысления того же содержания носителями языка-источника тех или иных сдвигов. Последнее выявляется на основе данных сопоставительного анализа, причем выбор привлекаемых к сопоставлению языков определяется соображениями ареального (наличие длительных контактов) и историко-культурного характера².

Поясню сказанное. Как известно, «семантическое членение» («картирование») действительности тем или иным языком является, вообще говоря, произвольным и семантическая «карта» какого-то одного языка отлична от семантических «карт» всех прочих языков³. При этом, с одной стороны, только часть аспектом опыта, часть мысленных образований в данном языке закрепляется в формальных грамматических единицах («грамматикализуется»), образуя систему соподчиненных грамматических понятий, обязательно участвующих в процессе синтеза высказывания. Например, при построении предложения *The man killed the bull* говорящий на английском языке обязательно должен осуществить выбор между определенностью/неопределенностью субъекта и объекта, между активностью/пассивностью, претеритом/непретеритом и под.⁴.

С другой стороны, многие аспекты опыта, обязательно фиксируемые в грамматическом строю одних языков, могут полностью игнорироваться другими языками⁵. Это в свою очередь означает, что в то время как в одних языках в процессе синтеза высказывания обязательно присутствуют, говоря словами А. Мартине, тот или иной «минимальный различительный акт выбора»⁶, позволяющий выявить в каких-то грамматических единицах определенный аспект осмысливания иноязыковой действительности, в других языках осмысление и актуализация данных аспектов опыта являются неизбывательными (хотя при необходимости, естественно, могут оксилицироваться с помощью тех или иных средств). Например, говорящий на любом славянском языке кроме болгарского и македонского в процессе синтеза высказывания не осуществляет обязательной для балканославянских характеристики ситуации в зависимости от своей точки зрения на собственную позицию по отношению к описываемой ситуации, т.е. не проводит обязательного для них в процессе синтеза высказывания выбора между грамматическими (=грамматикализованными) понятиями, связанными с подобной характеристикой. В отличие от этого, скажем, в болгарском языке (на материнл которого мы будем опираться в данной статье) грамматикализации (закреплен в специальных грамматических единицах глагола) целый ряд модальных характеристик ситуации в указанном аспекте. Семантика этих модальных категорий может быть представлена в следующей логической последовательности:

Пересказывательные формы (ПФ) в имперцептивной функции в контексте сообщения о факте действительности указывают на невключённость говорящего в ситуацию, о которой сообщается (внешняя, несвидетельская позиция говорящего). Ср., например: *Имам още дната братя ... Малкият засега разнася само поизви, а по-големият с член на младежкото ни дружество и работи добре. На изборния ден се дигнал сам, още в три часа сутринта, да разнася афиши и карикатури. Но то хванали някакви шайкаджни и така го напердали, че два дни не може да си мръдне врата* (Г. Караславов);

Конклюзивные формы в том же типе контекста, указывающие на объективную ненкллючённость говорящего в ситуацию, очевидцем которой он не был или не является, вместе с тем категорически включают его в оценку данной ситуации по каким-то сохранившимся следам или наличным признакам факта осуществления определенного действия. Создается интересное диалектическое единство невключённости и включённости в ситуацию: умозаключение говорящего. Ср.: *Той идеше откъм морето и, както се движаше, наблюдавал е нещо, защото на гърдите му висеше открит бинокъл* (Й. Йовков); *Цонка погледна часовника си и каза: Минува десет часът. Сега с с зафранало вечеването в Княжево* (И. Вазов);

ПФ в административной функции сигнализируют о том, что говорящий только что, непосредственно в момент речи, включается в оценку ситуации, о которой он ранее не знал или которую неверно оценивал. При этом несущественно, что послужило причиной этого внезапного перехода от незнания к знанию: собственное наблюдение, чужое сообщение или умозаключение: фактически аннулируется свое собственное мнение, имеющее место до неожиданного открытия и не совпадающее с ним. Ср., например: *Подпоручикът погледна часовника си и възклика: "Я гледай, то било вече обед!"* (П. Вежипов); *Пали и папа е търговец – па спирт. А пък спирт се правел от царевица и картофи.* Представете си – чак сега научих това! (И. Спасов); *Едва тогава усещам мокрота вътре в крака – ботушът е наизнад в кръв.* Един момент на загубено съзнание – помни го; сто знаци де била причина (Л. Стоянов);

ПФ в комментативной функции в контексте сообщения о сообщении могут быть употреблены как в случае невключён-

ности, так и в случае объективной включенности говорящего в ситуацию, в том числе при передаче действий, субъектом которых он сам является. Существенным при этом является то, что включение говорящего в ситуацию имеет вторичный характер, основано на чужой оценке отношения действия к действительности, на чужом сообщении, на что и указывают ИФ. Ср., например: *Колко лесно може да пропадне едно момиче сега* – заговори учителката. – *Още в трена почна – сто този – да ме придумва, да съм идела с него в Търново: имал там...майка, та щял да я пита, и можело да се венчаем, ха-ха!* (Л.Страшимиров); *Хич бива ли в ток студ на босо кал да се меси, а?...Че ти ще я умориш така... Старата изтръпна...Щяла съм да я уморя! Че ти толкова ли я жалиш, глупче глупав... Щяла съм да я уморя!* повторише в ума си тя, занемляла от яд. *Приказвай! Дрънкал!* (Г. Караславов);

Наконец, эмфатические ИФ в аналогичных условиях контекста, сигнализируя о вторичном характере оценки говорящим отношения действия к действительности, одновременно эксплицитно указывают на его несогласие с этой оценкой. Ср.: *Защо не си го хранил? Не те ли е грях?.. – Не го давам аз, бай Василе, не си давам коня – започна Нван, като се разпали и всиче не усихаше. – Тоз кон е тъжко за мене, той ми гледа децата. Не съм го бил хранел! Храня го аз* (И. Йовков)⁷.

Аналогичная картина наблюдается в тюркских языках, в частности в османо-турецком, где категория "субъективной модальности" на "мышь" зафиксирована с древнейших времен, является исключительной. После дифференциации тюркских языков она становится отличительной чертой всей южнотурецкой языковой группы⁸. Ср., например, предложенную К. Церунианом дефиницию значения турецкой глагольной формы типа *алмыш* (с опущением в 3 лице вспомогательного глагола-аффикса *-дыр*): она передает "прошедший факт, причем говорящий знает о нем не путем личного восприятия, а 1) через 3 лицо (по-русски *говорят, что он взял*); 2) или путем косвенного заключения из позднейших фактов (по-русски *оказывается, он взял*) или, наконец, 3) выражает личное мнение (по-русски *кажется, он взял*); в этом случае иногда имеется налицо союз *дица* ("кажется") и др." В случае сохранения в 3 лице аффикса *-дыр* форма имеет значение *perfectum logicum*⁹.

Как видно из этого определения, болгарской категории пересказывания (объединяющей на уровне общего, категориального, значения вторичности оценки отношения действия к действительности имперцептивную, комментативную и эмпатическую – дубитативную – функции) соответствует выражаемое формами на -*мыш* значение "заглазного" действия, свидетелем которого говорящий не был и знает о нем от других; болгарской категории конклюзива, закрепленной на уровне специальной системы грамматических единиц – значение действия, известного говорящему не из личного опыта, а на основании предположения, умозаключения; болгарскому адмиративу, формально, как и в тюркских языках, а также албанском совпадающему с ПФ, хотя и не равному им по семантике, – значение внезапного перепада от незнания к знанию (*той бил добър човек! еи адам имиш!* он, оказывается, хороший человек!).

Уже сам по себе факт грамматикализации названных аспектов опыта в болгарском и македонском при ее отсутствии в других славянских языках и в самих балканославянских на более раннем исторически зафиксированном этапе их развития, как и – шире – в основном массиве индоевропейских языков, свидетельствует об имевших место существенных сдвигах в языковом сознании посчителей балканославянских диалектов. Этим обусловлено обращение к указанным категориям при попытке изучения проблемы интерференции на грамматическом уровне, как мы ее понимаем.

Вопрос о причинах указанных сдвигов в балканославянских (если учесть наличие похожего явления в албанском глаголе¹⁰) является одним из наиболее дискутируемых и нерешенных вопросов славянского и балканского языкознания. Как известно, существует целый ряд гипотез, объясняющих происхождение указанных модальных категорий, в частности болгарского глагола. При всем разнообразии осмыслений и аргументации в наиболее "чистом", обобщенном виде они могут быть сведены к трем основным допущениям: 1) указанная система модальных категорий болгарского глагола возникла под влиянием внутренних, "самобытных" законов развития болгарского глагола еще в древнеболгарский¹¹ или ранний среднеболгарский (XII – XIII столетия)¹² период; 2) данная система обяжана своим происхождением болгаро-турецким

контактам: ранним, связанным с воздействием со стороны тюркского протоболгарского племени Аспаруха и других тюркских диалектов (гуннов, аваров, куманов, печенегов и др.) на Балканском полуострове¹³, или более поздним, имевшим место в период владычества Османской империи на Балканах (XIV–XIX вв.)¹⁴; 3) категория пересказывания и адмиратив в балканских языках являются результатом экспликации в языковом коде балканской модели мира, в частности характерной для нее оппозиции *внутренний/внешний*¹⁵.

Нам уже приходилось ранее в ряде работ пытаться обосновать свою точку зрения на генезис системы рассматриваемых в данной статье модальных категорий болгарского глагола, отося их к числу *балканлизмов*, но учитывая при этом и роль тюркского (турецкого) влияния, а также своеобразие пути развития этих категорий в болгарском¹⁶. В настоящей заметке хотелось бы подчеркнуть ту мысль, что, как это ни парадоксально, сложнейшая проблема генезиса указанных модальных категорий в конечном счете, видимо, может быть решена лишь при учете всех трех названных выше гипотез – как попытка синтеза содержащихся в них рациональных моментов. При этом ни одна из них сама по себе не имеет доказательной силы.

Действительно, об инновации в способе языкового мышления у носителей данного языка есть основание говорить лишь в том случае, если соответствующие сдвиги привели к возникновению новых единиц языка, т.е. если эта инновация закреплена как в плане содержания, так и в плане грамматического выражения этого содержания, в системе новых формально-семантических оппозиций, определяющих синтез высказывания. При этом сами новые языковые единицы грамматического уровня обычно органически связаны с существовавшими до того элементами, возникают на их базе. Так интересующие нас модальные категории болгарского глагола возникли на основе старого перфекта. Старая глагольная система постепенно приспосабливалась к грамматикализации ранее не formalizованных аспектов опыта.

Пытаясь реконструировать процесс этого приспособления, некоторые сторонники первой гипотезы в самом факте этого действительно неизбежно в том или ином виде имелись мосты в ис-

торическом развитии болгарского глагола процесса видят доказательство развития интересующих нас категорий по внутренним законам болгарского языка. Так, например, Св. Иванчев (не отрицая, впрочем, возможности турецкого влияния как "катализирующего"), выдвигает гипотезу появления пересказывательных форм в болгарском в силу явления "синтаксической конденсации": *Той казва, че Иван е чел книга* → *Иван е чел книга* → *Иван чел книга*, где процесс возникновения ПФ связывается с сокращением сложного предложения путем опущения главного, а затем — утратой вспомогательного глагола в составе формы перфекта¹⁷. Любопытно, что при этом автор опирается на пример сложного предложения с *verba dicendi* в современном литературном языке (где, собственно говоря, может быть иная модель соотношения времен в составе главного и придаточного предложений); тем самым он фактически не скрывает чисто умозрительного характера своего построения. Определенный резон в самой попытке такой реконструкции имеется — действительно, должен был, очевидно, существовать какой-то механизм постепенного перехода к новым функциям перфекта и к становлению целой системы основанных на этом форм. И тем не менее, доводы подобного рода, которые, видимо, целесообразно иметь в виду, не объясняют главное: почему, собственно говоря, в болгарском языке возникла тенденция к "синтаксической конденсации", причем имевшая своими последствиями такие существенные (и отнюдь не вытекающие из самой возможности такой конденсации) сдвиги, как грамматикализация "усеченного" (без вспомогательного глагола в 3 лице ед. и мн. числа) перфекта и развитие на его основе целой системы ранее не существовавших форм, в том числе включающих в свой состав новое причастие на -л от основы имперфекта (которое никак не может быть выведено из модели "синтаксической конденсации") и — главное — создание принципиально новой системы модальных оппозиций, которая обязательно должна учитываться в акте сегментации в्�незыковой действительности и синтезе любого высказывания на болгарском языке¹⁸. Более того, которая существенно сказалась на самой языковой модели мира и языковом менталитете носителей болгарского языка.

То же соображения можно было бы высказать в адрес тех сторонников "самобытного" происхождения указанных глагольных

категорий, которые видят аргументацию своей точки зрения в том, что первые случаи, которые могут рассматриваться, по их мнению, как проявление этих категорий, отмечаются уже в языке североградских болгар, покинувших монополию в XIII в. (но позднее 1266 года — года последнего венгерского похода против Болгарии), зафиксированным в так наз. "Черногорских молитвах", т.е. в предосмано-турецкий период¹⁹. Ср. также приведенный К. Пономарем в доказательство мысли о предтурецком характере явления материал употребления данных глагольных категорий в языке Валашских грамот XIV–XVI вв.²⁰. Кстати, при этом не учитывается возможность доосмано-турецких тюркских контактов, которые, по мнению Св. Инащенко, сыграли решающую роль, например, в возникновении такого раннего балканализма в болгарском языке, как применение фиксированное постпозитивное притяжательное употребление кратких дательных форм личных местоимений (типа *баша ми*)²¹.

Все это возвращает нас к рассмотрению второй гипотезы — о роли болгаро-тюркских (болгаро-турецких) контактов как источнике интерференции в сфере модальных категорий болгарского глагола. Как известно, сторонники этой гипотезы основной аргумент в ее пользу видят прежде всего в удивительном параллелизме морфологической системы непересказываемых — пересказываемых времен болгарского глагола и системы "очевидных" — "неочевидных" времен тюркского, в частности, османо-турецкого глагола. Так, по мнению Л. Андрейчина, сходство болгарской и турецкой модели состава и организации НФ столь велико, что это позволяет говорить не только о влиянии, но и в некоторых отношениях о калькировании соответствующих турецких форм²². В свою очередь, Р. Лёч (последней заслугой которого является то, что он поставил вопрос не о "влиянии" турецкого на болгарский и не о "калькировании", а именно о явлении интерференции, что, безусловно, не одно и то же) также пытается объяснить генезис произошедших в болгарском измениний интерференцией на морфологическом уровне, рассматривая ее как результат отождествления соответствующих турецких и болгарских форм. Более того, обращавшиеся нового причастия на -я от основы имперфекта, употребляющиеся в составе ряда НФ, по мнению Лёча, "показывает, что именно -я отождествляется с турецким аффиксом -ти²/ -ти³/ -ти⁴" (показатель "поочевидности" в турецком - Е/).

"Таким образом, — пишет Р. Лёч, — перед нами случай, когда при интерференции отождествляются не целые формы или служебные слова, а отдельные морфемы, входящие в состав определенных синтетических форм"²³.

На наш взгляд, определенный параллелизм морфологической системы модальных категорий болгарского глагола и системы "неочевидных" времен в турецком и других тюркских языка (так наз. *rivayet*) было бы целесообразнее рассматривать как явление вторичное, возникшее в результате своего рода грамматического "кодификации" ранее неизвестного балканославянским способа семантического членения внерядковой действительности, начальным толчком к возникновению которого могло послужить тюркское влияние. В этом смысле по-своему прав известный болгарский тюрколог Г. Гылыбов, утверждая, что "болгарская глагольная система не восприняла глагольные формы для пересказывания ни по образцу, ни под влиянием соответствующих форм (разрядка *моя – ЕД*) в турецком языке" — языке другого семейства с диаметрально отличным строем речи на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровне²⁴. Действительно, влияние самих грамматических форм одного из контактирующих языков, причем столь сильное, что это ведет к коренному преобразованию "вспомогательной" системы, вряд ли возможно.

Однако отсюда еще не следует, как это считает Гылыбов, что изменения, произошедшие в болгарской глагольной системе, "возникли исключительно в результате внутренних законов развития болгарского языка, в результате удивительного творческого разнообразия болгарской глагольной системы"²⁵. Здесь опять-таки обходится молчанием основной вопрос: что же явилось причиной столь бурного развития болгарской глагольной системы по сравнению с другими славянскими языками (кроме македонского), создания стройной системы ранее не существовавших в нем оппозиций и новых морфологических единиц.

Представляется очевидным, что причиной этого могло явиться только изменение самого способа семантического "картирования" действительности, потребовавшего определенных сдвигов и на уровне языкового мышления. В этом смысле только на первый взгляд кажется "наивным" утверждение Й. Трифонова (кстати, так-

же сторонника "самобытного" болгарского происхождения изучаемых категорий): "Едва ли можно сомневаться в том, что в создании специального способа выражения данного различия отразился наш народный характер. Мы настолько осторожны, что через саму речь ("говор") стремимся подчеркнуть на каждом шагу, что мы видели своими глазами и о чем только слышали от других людей"²⁶. По-видимому, именно потребность разграничивать названные Й. Трифоновым оценки говорящим своей позиции по отношению к сообщаемому, связанный с этим особый менталитет, и могли явиться причиной, вызвавшей к жизни новые модальные категории болгарского глагола, закрепленные в соответствующим образом организованной системе грамматических единиц.

Но есть ли у нас достаточные основания для того, чтобы появление новой системы модальных категорий болгарского глагола свести к тюркскому (в том числе, османо-турецкому) воздействию, приведшему к интерференции на грамматическом уровне?

Мы уже неоднократно пытались показать, что в действительности картина была более сложной. Возникновение интересующих нас категорий – лишь одно из проявлений "балканских" процессов, генезис которых "разумно искать во всей сложной ситуации многовековых языковых контактов на Балканском полуострове, а не только непосредственно в болгаро-турецком билингвизме"²⁷. Некоторые ученые идут дальше и ищут объяснение изучаемого явления в рамках собственно балканских языков. Так, например, В. Фидлер, отметив, что адмиратив в албанском (примеры его употребления отмечены в письменности XVII в.) и в настоящее время выражает "целую шкалу возрастающие комментативных и одновременно убывающие адмиративных значений"²⁸, вершиной которой можно считать употребление адмиратива в повествовательном контексте южноалбанских поселен северной Албании, само появление адмиратива в албанском и балканославянских объясняет длительными контактами этих языков на Балканах, не связывая его происхождение с одним каким-то языком и подчеркивая, что следы отмеченной общности теряются в глубоком тылу *собственной языковой семьи*²⁹.

В работах Г.В. Цывьян выдвигается гипотеза возникновения категории пересказывания и адмиратива как формы экспликации

сформировавшейся в условиях длительных и интенсивных межэтнических контактов балканской модели мира, в частности, характерной для ее структуры оппозиции *внутренний/внешний, свой/чужой, видимый/невидимый (видящий/невидящий)* и под. По словам Цивыян, "появление категории пересказывания в ареалах многоязычия дает основание считать актуализатором ее оформления как грамматической категории ситуацию языковых контактов, вызывающую усложнение акта коммуникации"³⁰. И далее: "Постоянные контакты с представителями иного побуждают к выработке средств, помогающих не обнаруживать свою позицию. Одним из способов такой маскировки и может, как кажется, служить определение своей позиции в пространстве текста: *внутри/вне*. Из начальной функцией категории пересказывания является однозначное разграничение *своего/чужого*, обеспечивающее необходимое в условиях контактов отделение *себя от другого*"³¹.

При всей убедительности и тонкости данной гипотезы она все же не отвечает на вопрос, почему при выработке "средств, помогающих не обнаруживать свою позицию", возникла система дальних категорий, с удивительным сходством повторяющая тюркскую (турецкую) морфологическую модель, как и саму специфику характерного для тюркских языков семантического "картирования" внеязыковой действительности и связанный с этим языковой менталитет. По-видимому, было бы целесообразным признать, что при формировании отдельных фрагментов балканской модели мира (а тем самым и балканской модели мира в целом), в частности, характерной для нее оппозиции *внутренний/внешний*, нашедшей свое отражение в ее языковом коде, заметную роль сыграл тюркский фактор, хотя его воздействие в процессе интерференции балканских языков, безусловно, не было единственным или решающим. Достаточно сказать, что в турецком языке нет характерной для балканских языков (румынского, албанского, болгарского) системы постпозитивного артикля, паряду с категорией пересказывания (и – шире – категорией, по терминологии Г.Герджикова³², "модуса высказывания") участвующей в языковом воплощении социотической оппозиции *внутренний/внешний* (или, в осмыслиении Б. Понева, категории определенности/неопределенности³³). Не случайно те немногие из индоевропейских языков, в которых грам-

матикализованы те или иные семантические модальные различия, похожие на рассматриваемые в настоящей работе, находились в длительных контактах либо с тюркскими языками (это, кроме балканославянских и албанско-го, новоармянский и некоторые иранские языки), либо с угро-финскими, для которых это явление также характерно (это балтийские языки — литовский и латышский).

По-видимому, только факт отсутствия длительных ареальных и историко-культурных контактов балканских языков с языками, которые потенциально могли дать начальный импульс появлению изучаемых сдвигов в семантическом "картировании" вицевыковой действительности и закреплению их в системе языковых единиц, позволил бы принять "балканскую" гипотезу в ее "чистом" виде.

Примечания

1 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 51.

2 См. об этом: Демина Е.Н. Сопоставительный метод при изучении языковой интерференции на грамматическом уровне // Ги-пологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков. Тезисы докладов и сообщений межреспубликанской конференции. Октябрь 1992. М., 1992. С. 10–12.

3 Вейнрайх У. О семантической структуре языка // Новое в лингвистике. Вып. V. (Языковые универсалии). М., 1970. С. 163.

4 Jakobson R. Boas' view of grammatical meaning // The American Anthropologist, 61, 5, Part 2, Memoir 89, 1959. P. 139–141.

5 Сепир Э. Введение в изучение речи. М., 1954. С. 55–56.

6 Мартине А. Структурные вариации в языке // Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965. С. 458.

7 Значение и употребление ИФ, форм конклюзива и адмиратива подробно исследованы нами в работе: Демина Е.Н. Пересказывательные формы в современном болгарском литературном языке // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959. С. 313–378, где дается их категориальная характеристика и приводится большой фактический материал. Об истории становления системы этих категорий см.: Демина Е.Н. Към историята на модалните категории на българския глагол // Български език. Год. XX, 1970, кн. 5. С. 405–421.

⁸ Ср.: *Джонсон Н.К.* К вопросу о значении османской глагольной формы на "мыш" // *Записки коллегии востоковедов*, II, вып. 1, 1926; *Конопов А.И.* Турецкая глагольная форма на мыш // *Ученые записки ЛГУ*, № 20, серия филол. наук, вып. 1. Л., 1939.

⁹ *Церушиаш К.* Курс османских разговоров. Т. I. М., 1924. С. 175.

¹⁰ По данным Г. Вайганда, в языке населения тех городов, где турецкое влияние было особенно сильным, формы перфекта употреблялись для указания на то, что действие в прошлом известно говорящему по чужому сообщению, пока слышке, но предположению в отличие от аориста, обозначавшего действие, очевидцем которого говорящий являлся, например, *erdhi* означает *er ist gekommen (ich habe das selbst gesehen)*; *ka ardhi* — *er ist gekommen (wie ich glaube)*. — *Weigand G. Albanesische Grammatik*. Leipzig, 1913, S. 126.

¹¹ *Младенов Ст.* Два вопроса из старобългарската граматика // *Епископие на БАН*, кн. XXXV. София, 1926; *Бородич В.В.* К вопросу о значении перфекта в болгарском языке // *Славянская филология*, вып. 4. М., 1963.

¹² *Герджиков Г.* Хронология на произвеждането на глаголното действие в български език // Първи международен конгрес по българистика. София, 23 май — 3 юни 1981 г. Доклади. I. Исторически развой на българския език. София, 1983. С. 127—136.

¹³ *Попов К.* Нови данни за произхода на произказните глаголни форми в българския език // Език и литература, год. XII, 1967, № 6. С. 15—30.

¹⁴ *Андрейчин Л.* Въпросът за националната самобитност на езика // *Известия на Института за български език*, кн. II, София, 1952. С. 39—45; *Мирчев К.* Историческа граматика на българския език. София, 1963. С. 208—210; *Георгиев В.* Възникване на нови сложни глаголни форми със спомогателен глагол "имам" // *Известия на Института за български език*, кн. V, София, 1957. С. 47.

¹⁵ *Цивън Т.В.* Концепт языкового союза и современная балканистика. Научный доклад на соисканию ученоей степени доктора филологических наук. М., 1992.

¹⁶ *Демина Е.И.* К вопросу о генезисе модальных категорий болгарского индикатива // Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков. 15—16 января 1974 г. (Предварительные материалы). М., 1973. С. 13—17; *Она же.* Опыт диахронического подхода к одному из явлений языковой интерпретации на грамматическом уровне. // *Linguistische Studien. Reihe A*

Arbeitsberichte, 29/1. Probleme des Sprachvergleichs, Berlin, 1976.
S. 79–108.

17 *Иванчев Св.* Проблеми на развитието и функционирането на модалните категории в българския език // *Иванчев Св.* Приноси в българското и славянското езикознание. София, 1978. С. 88–91.

18 О феномене различия действующих в момент порождения высказывания правило, активно осуществляемых при этом говорящим процедур выбора между грамматическими категориями, в самом механизме синтеза высказывания см.: *Демина Е.Н.* К теории сопоставительных исследований по грамматике. // Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков. М., 1990. С. 3–14.

19 *Герджиков Г.* Указ. соч. С. 131–135.

20 *Попов К.* Указ. соч. С. 19–30.

21 *Иванчев Св.* Една не само балканистична особеност на българския език // *Иванчев Св.* Българският език – класически и екзотичен. София, 1988. С. 112–120.

22 *Андрейчин Л.* Указ. соч. С. 39–45.

23 *Леч Р.* О специфическом характере грамматической ингерференции, связанный с происхождением так называемых пересказываемых форм болгарского языка // Исследования по славянскому языкоzнанию. Сборник статей в честь шестидесятилетия профессора С.Б. Бернштейна. М., 1971. С. 181. Здесь (с. 177) и таблица временных эквивалентов испересказываемых и пересказываемых форм болгарского и турецкого глагола.

24 Известия на Института за български език, кн. II. С. 239–240.

25 Там же.

26 *Трифонов Й.* Синтактични бележки за съединението на минимало действително причастие с глагола "съм" в новобългарския език // Периодическо списание на Българското книжовно дружество в София, кн. 66, св. 3–4. С. 169.

27 *Демина Е.Н.* К вопросу о генезисе модальных категорий болгарского индикатива. С. 17.

28 *Fiedler W.* Zu einigen Problemen des albanischen Admirativs // Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. 15. Jahrgang, 1966. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. Heft 3. S. 565.

29 Там же. С. 566.

30 *Цивън Т.В.* Указ. соч. С. 34.

31 Там же.

- 32 Герджиков Г. Преизказването на глаголното действие в българския език. София, 1984. С. 70–86.
- 33 Цонев Б. Определени и неопределени форми в българския език. Ректорска реч, държана на 25.XI. 1910. София, 1911.

Л.Н. Смирнов

ПРОБЛЕМЫ СИНХРОНИО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В новейших трудах словацких и чешских лингвистов значительное внимание уделяется вопросам сравнительного изучения языков. Их исследования в этой области характеризуются многоаспектностью и широтой проблематики и охватывают различные направления сравнительной лингвистики: сравнительно-историческое языкознание, ареальную лингвистику, лингвистическую типологию, лингвистику перевода, сравнительно-сопоставительную (конfrontационную) лингвистику¹.

В рамках последнего направления паряду с исследованиями по грамматике большое место занимает синхронно-сопоставительное изучение словарного состава славянских языков. В этом отношении в чешословакской лингвистике уже сложилась определенная традиция, которая восходит к первым послевоенным годам. Тогда, правда, работы по синхронно-сопоставительной лексикологии (далее мы будем в этом значении говорить о сопоставительной лексикологии – *L.C.*) носили по преимуществу прикладной характер, что объяснялось настойчивой потребностью лингводидактической, лексикографической и переводческой практики². В последние десятилетия сопоставительно-лексикологические исследования словацких и чешских лингвистов получили необычайно широкий размах, причем большое место в них занимают вопросы теории, методологии и методики сопоставительной лексикологии. Эту проблематику активно разрабатывают В. Бланэр, В. Будовичова, Ю. Йолник, Й. Влчек, Я. Гороцкий, М. Докулил, М. Зитовжанюк, Д. Кол-

лар, Й. Лотко, О. Мартинцова, Н. Савицкий, Э. Секанинова, В. Стракова, Й. Филипец, А. Ярошова и др. Паряду с этим, естественно, по-прежнему публикуются монографии и статьи, имеющие не только научно-теоретическое, но и практическое значение, ср., например, книги: *M. Rogař. Lингвогиддактическая интерпретация сопоставительного описания словацкой и русской лексики* (Прага, 1983), *M. Šoták. Slovný fond slovenských a ruských frazém* (Bratislava, 1989). Вместе с тем многие авторы считают необходимым подчеркнуть и собственно научный характер сопоставительной лексикологии. Так, Й. Филипец замечает: "Межъязыковая конфронтация с точки зрения лингвистики и гносеологии является необходимым шагом описания и толкования языков"³. Он же говорит об органической связи межъязыкового и внутриязыкового сравнения лексики: "Межъязыковая конфронтация словарного состава является важной задачей лексикологии. Это продолжение внутриязыковой конфронтации, которая заключается во всестороннем описании частных систем лексических единиц"⁴. Отмечая теоретический и общелингвистический аспекты сопоставительной лексикологии, Й. Долник подчеркивает: "Монолингвальное и полилингвальное описание являются комплементарными приемами при всестороннем описании лексического состава"⁵.

В данной статье не ставится задача дать достаточно полный обзор новейших работ словацких и чешских лингвистов по вопросам сопоставительного анализа словарного состава славянских языков (в краткой статье это просто невозможно, так как данной проблематике посвящена обширная литература, включающая как конкретные сопоставительные описания различных разрядов лексики, так и опыты теоретического осмыслиения принципов и методов упилагерального и полилагерального межъязыкового сопоставления словарного состава). Мы ограничимся рассмотрением некоторых аспектов и проблем, представляющих, на наш взгляд, интерес в теоретико-методологическом плане.

Характерной чертой современных сопоставительно-лексикологических исследований чехословацких лингвистов являются последовательный системно-функциональный подход, проявляющийся при анализе и описании как лексических единиц, так и частных лексических систем. В связи с этим важное значение

имеют признание системного характера лексики, глубокая разработка вопроса о соотношении и взаимодействии ономасиологического и семасиологического аспектов сопоставления лексики, сочетание внутриязыковой⁶ и межъязыковой конфронтации, учет экстерных и интерных функций⁷ лексических единиц, характеристика анализируемых единиц и звеньев словарного состава по их отношению к центру и периферии системы и др.

Важное место в трудах словацких и чешских лингвистов занимает тщательная проработка подготовительного этапа сопоставительных исследований в сфере словарного состава. Необходимой предпосылкой такого рода работ считается системное и систематическое описание каждого из сравниемых языков как равноправных объектов. С этим связано, в частности, поиск оптимальной модели описания лексического уровня языка, которая может быть применима и для целой синхронного сопоставления. Такая модель может быть представлена в виде иерархически организованной структуры частных лексических систем, начиная с наиболее абстрактных (например, семантических полей) и кончая конкретными нарами слов, относящихся к одной и той же части речи⁸. При использовании подобной модели в подготовительном сопоставительном исследовании обязательным условием является единство метода и метамынка описания.

Системно-функциональный подход ярко проявляется в обосновании целей, исходных принципов и методов⁹ сопоставительного изучения словарного состава, а также в трактовке основного понятийного аппарата сопоставительной лексикологии: а) предмета межъязыкового сравнения на лексическом уровне; б) основания, базы сравнения (*tertiary comparisonis*); в) окклюзентности.

Предмет сопоставительной лексикологии в новейших работах словацких и чешских лингвистов трактуется, как правило, достаточно однозначно. Й. Филиппец считает, что предметом межъязыковой конфронтации могут быть только частные лексические системы, "организуемые в целом идентичной общей семантической доминантой"¹⁰. При этом под частной системой в словарном составе он понимает "структурное образование, состоящее из двух или более лексических единиц, обусловленных отношением лексемы и смысла, объединяющее обычно иерархически вышестоящим значением, присущим, формулируемой в метаязыке (например,

"движение", "цвет", "вертикальность", "горизонтальность", "направление" и пр.) и которая может быть выражена самостоятельной лексемой ..."¹¹. В соответствии с таким пониманием целью сопоставительной лексикологии считается "установление сходства и различий между частными системами в словарном составе и установление отношений между этими системами"¹². Это, конечно, не означает, что из сферы межъязыкового сопоставления изымаются отдельные лексические единицы (слова, словосочетания, фразеологизмы). Однако, благодаря включению этих единиц в определенные частные системы более полно раскрывается их системная и функциональная значимость. Иначе говоря акцент делается не на отдельные лексические единицы как таковые, а на структурно организованные (прежде всего в плане содержания) звенья словарного состава¹³. Таким образом, в центре сопоставления находятся лексические микросистемы (частные системы, подсистемы), всестороннее изучение которых является необходимым этапом сопоставительного исследования словарного состава двух или нескольких языков. Не удивительно, что некоторые авторы считают важной методологической предпосылкой такого изучения разработку типологии частных систем словарного состава и предлагают разные варианты подобной типологии¹⁴.

Основной единицей сопоставительного изучения словарного состава обычно считается лексема. По мнению ряда словацких и чешских лингвистов такой единицей следует признать не лексему, а так называемую "лексу" ("лексию", *lexiu*) (Й. Филипп, Я. Бенкевичова, Ю. Долник, А. Ярошова и др.). Данным термином определяется симметрически организованная билатеральная моносемическая единица (иначе говоря, слово в одном из своих значений или в своем единственном значении)¹⁵. Некоторые чешские лингвисты паряду с этим используют термин "моносемическая лексическая единица" или "лексема-семема"¹⁶. (В нашей лингвистической литературе сходное понятие обычно выражается термином "лексико-семантический вариант".) С функциональной точки зрения выделение подобной исходной единицы сопоставительной лексикологии вполне оправдано, поскольку, как отмечает А. Ярошова, слово включается в лексическую парадигму (имеется в виду частная лексическая система – *L.C.*) лишь в одном из своих зна-

чений. Если же слово включается в нее одновременно в нескольких значениях, то эти значения находятся в разных подсистемах парадигмы¹⁷.

Сопоставительное изучение лексики должно, естественно, опираться на определенную межъязыковую общность¹⁸, составляющую основу, базу сравнения (*tertium comparationis*). В современной чехословакской лингвистике проблеме *tertium comparationis* уделяется самое пристальное внимание как в общетеоретическом плане (например, в работах В. Барнета, который подчеркивал, что это понятие "является ключевым, препятствующим механическому перенесению особенностей одного языка на другой"¹⁹), так и применительно к сопоставительному анализу на лексическом уровне. И здесь подтверждается высказывание Барнета о том, что содержание понятия *tertium comparationis* "не может быть идентичным во всех случаях сравнения"²⁰.

При сопоставительном изучении лексики в качестве основы сравнения наиболее предпочтительной признается "величина плана содержания". В исследовании, ориентированном ономасиологически, в качестве *tertium comparationis* выступает понятие, "мыслительное содержание", "внезыковая реальность", "логико-семантическая категория" и т.п. Логико-семантические категории разной степени абстракции и структурной сложности образуют основу сравнения при сопоставлении частных лексических систем (полей, семантических категорий, лексико-семантических групп и др.)²¹. Наряду с этим в роли основы сравнения может выступать и определенная семема как структура абстрактных и конкретных признаков (сем)²². Учитывая симметрический билатеральный характер "лексий", их сопоставление может быть направлено на выяснение соотношения присущих им сем или же на установление соотношения их формальной структуры. В последнем случае внимание будет направлено на раскрытие четырех основных типов различий: а) словообразовательно немотивированное слово: производное слово, например, *конфета* – слвц. *сukrýk*, *аптека* – слвц. *lekárneč*; б) производное слово: сложное слово, например, *липучка* – слвц. *mučholapka*, *машинист* – слвц. *strojvodíč*; в) производное слово: многосложное наименование, например, *грузовик* – слвц. *nákladné auto*, *почник* – слвц. *počná lámpa*; г) сложное слово: мно-

гословное наименование, например, бензоколонка – слвц. *benzinová pumpa*, мясорубка – слвц. *mlynské maso*²³.

Сходство в плане выражения также может служить базой сопоставительного анализа словарного состава. В связи с этим В. Стракова вводит понятие – термин "изолексия" для обозначения явления межъязыкового формального параллелизма. "Под изолексией, – замечает она, – мы понимаем ту ситуацию, когда в двух или нескольких славянских языках существует одинаковая лексическая единица (лучше говорить "параллельная", а не "одинаковая", потому что при этом могут быть фонетические модификации, различия в ударении и т.п.)"²⁴. Изолексия объединяет, например, слова в славянских языках, соответствующие чешским *voda*, *ruka*, *hvězda*, *kníha*. В случае семантического сходства ряда несовпадающих по форме слов Стракова говорит о гетеролексии, например: чеш. *tužka*, слвц. *ceruzka*, польск. *otwórek*, русск. *карандаш*, болг. *молив*.

В теоретическом и методическом отношении интересен опыт рассмотрения в качестве *tertium comparationis* генеративной модели наименования, предложенный Я. Горецким²⁵. На основе этой модели устанавливаются сходства и различия в способах манифестиации общей глубинной структуры на уровне поверхностных структур сравниваемых языков.

Много делается словацкими и чешскими лингвистами также в плане осмыслиения проблемы эквивалентности, которая занимает важное место при сопоставительном анализе и описании лексики.

В теоретическом аспекте вопрос об эквивалентности при сравнении глубоко и интересно разработан в трудах В. Барнета²⁶. Применительно к сопоставительной лексикологии эта проблематика детально освещается в статьях Й. Филинца, Д. Коллара, Ї. Секаниновой, А. Ярошовой и др., которые вносят свой вклад в развитие теории лексической эквивалентности.

В статье "Специфика системного описания лексики в сопоставительном плане" Д. Коллар еще в 1974 г. писал: "Чтобы вскрыть семантическую структуру сопоставляемых единиц, определить их сходство и различия... необходимо... создать новую, искусственную систему, основанную на совокупности эквивалентов данных языков и действительную лишь для этих языков"²⁷. В новейших

работах чехословацких лингвистов представлено несколько оных типов конструирования моделей лексико-семантических эквивалентов (Й. Филипец, Э. Секанинова, А. Ярошова и др.). В них также находит свое отражение системно-функциональный подход: предлагаются различать эквивалентность на уровне системы и на уровне коммуникации, речи, текста; характер эквивалентности сравниваемых лексических единиц связывается с их экстерными и интерными функциями; учитываются парадигматические и синтагматические связи лексических единиц, их стилистическая окраска; некоторые авторы различают эквиваленты на уровне лексемы и семемы и т.п. Построение системно-функциональной типологии лексических эквивалентов признается одной из методологических посылок сопоставительного анализа лексических систем (подсистем).

Обращается внимание на важность разработки данной проблематики в прикладном аспекте, в частности, для создания двуязычных переводных словарей, для теории и практики перевода и др. Так, некоторые словацкие лингвисты предлагают различать два метода синхронного сопоставительного анализа словарного состава: метод конфронтации (в узком смысле слова) и метод "эквалентации", то есть методический прием определения эквивалентов лексем одного (исходного) языка в другом (целевом) языке²⁸. В первом случае сравнение проводится на основе общей логико-семантической категории, поэтому метод конфронтации в узком смысле слова используется прежде всего при анализе частных лексических систем. Во втором случае отправной точкой сравнения является лексема (в традиционном понимании как двусторонняя единица словаря) или "лекса" ("лексия") как "моносемиическая лексема". При таком подходе устанавливаются эквиваленты целевого языка, покрывающие в своей совокупности семантическую структуру исходной лексемы.

С опорой на лексикографическую теорию и практику разработана модель типов лексических эквивалентов, учитывающая разную степень сходства и различия значения и формы сопоставляемых лексических единиц, их моносемию и полисемию, специфику их употребления и т.п.²⁹. При этом было установлено три основных типа эквивалентностей (с рядом подтипов): 1) симметрическая (полная или частичная); 2) симметрическо-асимметрическая; 3) асимметрическая³⁰. Интересный опыт построения системно-

Функциональной типологии лексической эквивалентности находим в статье Л. Ярошовой "Лексическая единица в сопоставительном аспекте"³¹. В ней устанавливаются следующие типы эквивалентов исходной лексической единицы: 1) одноплановый изосистемный эквивалент (лексическая единица того же языкового уровня и с теми же структурно-категориальными свойствами, что и исходная единица); 2) одноплановый гетосистемный эквивалент (лексическая единица, которая по своим категориальным или структурным свойствам отличается от исходной); 3) разноплановый парадигматический эквивалент (ряд слов, передающих в своей совокупности семный состав исходной единицы); 4) разноплановый синтагматический эквивалент (словосочетание, передающее семный состав исходной лексической единицы).

В целом можно сказать, что тщательно разработанная теория эквивалентности и методически продуманные модели системно-функциональной типологии лексических эквивалентов являются характерной чертой сопоставительной лексикологии, представленной современными трудами словацких и чешских лингвистов.

Примечания

¹ См.: *Barnek B.* К проблеме языковой эквивалентности при сравнении//Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским языком и другими славянскими языками. М., 1983. С. 10.

² Cp.: *Janošová A.* Čiastkové systémy slovnej zásoby z konfrontačného aspektu//*Slavica Slovaca*. Roč. 25. 1990. Čís. 3. S. 257.

³ *Filipec J.* Problematika konfrontace v lexikální zásobě//*Slovene a slovenstvo*. Roč. 46. 1985. Čís. 3. S. 210.

⁴ *Filipec J.* Úkoly vyplývající z konfrontace slovní zásoby dvou jazyků//*Obsah a forma v slovnej zásobě*. Bratislava, 1984. S. 26.

⁵ *Dolnák J.* Ciele a princípy konfrontačnej lexikológie//*Slavica Slovaca*. Poč. 25. 1990. Čís. 1. S. 4.

⁶ О методе внутриязыковой конфронтации см.: *Filipec J.* О конфронтации частных семантических систем в словарном составе двух разных языков //*Языкознание в Чехословакии*. Сб. статей/Под ред. А.Г. Широковой. М., 1978. С. 374–375.

⁷ Под экстерными функциями понимается "непосредственное удовлетворение коммуникативных потребностей", а под интерны-

ми – "принципы образования структуры (слова, формы...)" (Барнетт В. Указ. соч. С. 19). См. также: Dolník J. Op. cit. S. 10–11.

8 Ср.: Jarošová A. Onomaziologický aspekt jazykovej konfrontácie//*Slavica Slovaca*. Roč. 26. 1991. Čís. 3. S. 208–209.

9 См., в частности: Filipc J. Nekteré otázky konfrontace slovní zásoby dvou jazyků//*Slavica Slovaca*. Roč. II. 1976. Čís. 1. S. 39–48; *Idem*. Problematika konfrontace..., S. 201–214; Blanár V. Porovnanie lexikálno-sémantických systémov v pribuzných jazykoch (Problémy a perspektívy//*Ceskoslovenská slavistika*, 1988/Red. J. Petr. Praha, 1988. S. 77–88; Sekaniňá E. Východiská a ciele skúmania lexiky konfrontačnej a ekvivalentnej metódou//*Slavica Slovaca*. Roč. 23. 1988. Čís. 3. S. 225–238; Dolník J. Op. cit. S. 3–16; Benkovičová J. Metódy konfrontačnej lexikológie//*Slavica Slovaca*. Roč. 26. 1991. Čís. 1. S. 38–50.

10 **Филипец Й.** О конфронтации частных семантических систем... С. 375.

11 **Филипец Й.** Указ. соч. С. 378.

12 Filipc J. Úkoly vyplývajúc z konfrontace slovní zásobu... S. 260. Конечно, в общем выше цели и задачи сопоставительной лексикологии формулируются более широко. 10. Долник выделяет пять компонентов, которые образуют "целевую структуру конфронтационной лексикологии": 1) установление ролевантных сходств и различий в лексическом составе двух или нескольких языков; 2) определение специфики лексического состава одного языка по отношению к лексическому составу другого языка, генр. других языков; 3) выявление набора признаков, общих для определенных классов языков и характерных для их лексического состава; 4) выявление признаков, встречающихся в лексическом составе большего числа языков, чем реально обосновывается гипотеза о языковых универсалиях в сфере лексики; 5) объяснение сходств и различий в лексическом составе разных языков и их оценка в плане влияния на гносеологическую и коммуникативную функцию языка (см.: Dolník J. Op. cit. S. 3–4. Ср. также: Sekaniňá E. Vzluh konfrontačnej lexikológie a dvojjazyčnej lexikografie//*Jazykovedný časopis*. Roč. 43. 1992. Čís 1. S. 4).

13 См., в частности: Blanár V. Op. cit.

14 См., например: Filipc J. Problematika konfrontace v lexikální zásobě... S. 206–207; Jarošová A. Čiasťkové systémy slovnej zásoby z konfrontačného aspektu (1,2)//*Slavica Slovaca*. Roč. 25. 1990. Čís. 3; Roč. 26. 1991. Čís. 1; Benkovičová J. Op. cit.

15 Ср.: Jarošová A. Čiasťkové systémy ... (2). S. 209.

16 См.: Filipc J. Problematika konfrontace... S. 202.

17 См.: Jarošová A. Čiastkové systémy... (1). S. 261.

18 При системном сопоставительном анализе принципиально важно учитывать наличие черт сходства, идентичности сравниваемых единиц, а не стремиться лишь к установлению расхождений между ними. В. Стракова справедливо замечает: "Числом сходных черт между сравниваемыми единицами дана и возможность глубины анализа. Там, где кончаются сходные черты, кончается и возможность конфронтационного анализа (евентуально здесь может возникнуть вопрос о межуровневой компенсации)" (Straková V. *Typy mezičlenských asymetrií // Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov*. Bratislava. 1990/Ved.red. J.Kačala. S. 30).

19 Барнёт В. Указ. соч. С. 10.

20 Там же. С. 27.

21

Можно отметить, например, тщательный сопоставительный анализ словацких и русских глаголов, где в качестве *tertium comparisonis* выступают логико-семантические категории дистрибутивности и индоативности действия (см.: Sekaninová E. *Východiská a ciele*. S. 225–238; она же: *Konfrontacia a ekvalentácia modifikácií inchoatívnych slovies v ruštine a slovenčine // Slavica Slovaca*. Roč. 25. 1990. Čís. 1. S. 17–29), или группы глаголов движения в чешском и русском языках (см.: Филипец Й. О конфронтации частных семиатических систем... С. 383–392).

22 См., например, сопоставление словацких и русских глагольных лексем, в которых реализуются семеи "перемещения" (Sekaninová E. *Z konfrontácie jednotiek čiastkového systému slovenčkej a ruskej jazyky // Československá slavistika*. 1988. S. 89–98).

23 См.: Jarošová A. *Onomaziologický aspekt jazykovej konfrontácie*. S. 217.

24 Straková V. Op. cit. S. 32.

25 См.: Horecký J. *Ku konfrontačnému výskumu slovnej zásoby // Československá rusistika*. Roč. 19. 1974. Čís. 2. S. 55–57.

26 См., в частности: Барнёт В. Указ. соч.

27 Коллар Д. Специфика системного описания лексики в сопоставительном плане//Языкознание в Чехословакии. М., 1978. С.408.

28 Ср. Sekaninová E. *Konfrontačný a ekvivalentný postup pri skúmaní lexiky dvoch jazykov // Сборник педагогического факультета в Нитре. Серия русистики 4. Nitra, 1987. С. 138–144; она же: Vzťah konfrontačnej lexikológie a dvojjazyčnej lexikografie. S.34–47.*

29 См.: Sekaninová E., Kucerová E. *Slovensko-ruský slovník ako konfrontácia slovenskej a ruskej lexiky // Obsah a forma v slovnej zásobe*. Bratislava, 1984. S. 215–226.

30 Детальное описание данной системы типов лексической эквивалентности см.: *Sekaninová E., Kučerová E.* Op. cit. Ср. также: *Filipec J.* Problematika konfrontace v lexikální zásobě... S.204.

31 См.: *Jarošová A.* Lexikální jednotka z konfrontačného hľadiska // *Československá rusistika*. Roč. 35. 1990. Čís. 4. S.197–205.

КАТЕГОРИЯ ЛИШИТЕЛЬНОСТИ В ЯЗЫКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Характерной особенностью языков, входивших в центрально-азиатскую зону евразийского языкового союза, было использование лишительных конструкций как ключевых в пределах одного текста, строящегося на лишительности как сквозном приеме, ср. в тохарском *A sne wāñlesu sne psä1* ‘без (тох. A. *sne*, B *sna1* = лат. *sinc* ‘без’ > фр. *sans*) наработанного, без шелухи’, повторяющееся дважды в “*Puryavantajātaka*” 2а 3,5. Тохарское синтаксическое противопоставление двух предлогов (тох. A *śla* ‘с’, *sne* ‘без’), обозначающих соответственно комитативность—сопутствие и каритивность—лишительность, сходно типологически с аналогичным морфологическим противопоставлением падежей с двумя подобными значениями в тибетском и в енисейских языках. Возможность передачи лишительности любым из этих способов подтверждается систематическим переводом санскритских привативных сложений с начальным *a(n)-* ‘не-’ посредством сочетаний с тох. A *sne*, B *sna1* ‘без’: тох. A *sne-miyaslunc* ‘a - vihitma’, ‘без причинения ущерба’, *sne-ukotē* ‘a - pramāda’, ‘без небрежности’, *sne-lyutār* ‘an-uttara’, ‘не чрезмерно’, тох. B *sna1-uragwesce* ‘an-ādi’, ‘без начала’ и т.п. Синхронные соотношения в этих санскритско-тохарских переводах аналогичны диахроническому соотнесению славянских архаических привативных сложений типа др.-рус. ОУ-РОДЬ, ОУ-БОГЬ (ср. к значению хот. *a-śiwa-* ‘нищий’ < ‘без бога, без дара божьего’). и более поздних синтаксических конструкций с предлогом типа рус. *без(ъ) – у-род:* *без рода, у-бог:* *без бога* (слова архаического типа в современном русском языке переосмыслены). Рус. *без рода, без племени; без рук без ног* (ср. *язык без костей* при

др.-инд. *an-astha-*, гр. ἀν- *βοτεος*) могут служить славянскими примерами использования лишительности как сквозного приема построения (микро)текста; ср. развитие приема у Пушкина: *Без божества, без вдохновения...*".

Славянские языки характеризуются наличием нескольких архаических форм, в которых отсутствие какого-либо свойства или предмета выражено посредством привативного элемента (в древности — отрицания, позднее в некоторых языках ставшего из первого члена словосочетания привативным префиксом, как в греческом): рус. *у-душъе, у-богий* (с инославянскими параллелями). Для раннеславянского периода этот тип обозначения лишительности можно реконструировать как преобладающий и продолжающий старую индоевропейскую модель (и.-е. **h₂n-/n̥e-* > о.-слав. **b-*/*n̥e-*). В позднейший (по еще общеславянский) период под влиянием иранских языков и на основе общего с ними морфемного обозначения лишительности выработалась новая префиксальная модель (тип рус. *без-дом-н-ый*), соотнесенная с исходной предложной (тип *без дома*). Сравнение с языками (енисейскими и алтайскими) сибирского ареала, где широко распространены аналогичные способы выражения лишительности (в том числе и с помощью особого падежа, как в кетском и югском), позволяет предположить общевразийский характер этого типа. Иначе говоря, можно думать, что грамматическая категория лишительности, соотносимая с посессивностью и ей противоположная, может быть одной из черт типологического строя евразийского языкового союза (особенно его сибирской зоны, простирающейся и на юг к Центральной Азии).

В. С. Храковский

УСЛОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Проблемы типологического анализа)

1. Предварительные замечания.

Основная цель предлагаемой публикации состоит в том, чтобы представить для обсуждения типологически релевантную модель описания условных конструкций (УК).

В грамматической системе любого языка, очевидно, есть участки, которые постоянно привлекают внимание специалистов. Одну из таких зон повышенного внимания составляют УК, изучением и анализом которых занимаются не только языковеды, но также психологи, логики, философы¹.

Есть основания считать, что УК относительно хорошо описаны с формально-грамматической точки зрения. Во всяком случае это утверждение справедливо по отношению к славистике. И в нормативных грамматиках, и в специальных монографиях и статьях достаточно внимания уделяется классификации прототипических УК по релевантным формальным и семантическим признакам, а также характеристике условных союзов и глагольных форм, употребляющихся в УК. Из других проблем, которые довольно активно исследуются особенно в наши дни, следует отметить проблему синхронно-диахронных семантико-синтаксических связей УК с другими конструкциями, прежде всего с временными, уступительными, причинными, которым, как принято считать, свойственно общее значение обусловленности². Учитываются также связи УК с относительными, вопросительными, повелительными и некоторыми другими конструкциями³. Формальные различия между УК и называемыми конструкциями могут быть довольно скрытыми, а стандартные показатели условного значения, прежде всего союзы, при определенных обстоятельствах не выражают условное значение.

Что касается смысловых, прагматических и коммуникативных свойств УК, то их углубленный анализ начался только в последние десятилетия. Исходной установкой этих исследований служит известный тезис, что УК естественного языка довольно точно отображают логическую операцию импликации, а понятие материальной импликации являются опорным для семантического определения УК⁴.

Относительно немного работ посвящено исследованию УК с универсально-типологическими позиций. Пионерской в этом отношении следует считать работу Дж. Гринберга, который в список универсалий, связанных с порядком слов, включил под номером 14 универсалию, посвященную порядку следования частей УК. Эта универсальность гласит: "В условных конструкциях условная часть предшествует заключению. Такой порядок является нормальным порядком слов для всех языков"⁵. Интересна также книга Н. Даниельсена, в которой автор, опираясь на формальные особенности показателей условного значения, выделяет четыре типа УК⁶. Однако наиболее важной следует считать статью Б. Комри, в которой сделана попытка охарактеризовать УК с точки зрения их лингвистической значимости, а также указать параметры, на базе которых по мнению автора, должно проводиться общелингвистическое, типологически ориентированное описание УК⁷.

Слабая изученность УК с универсально-типологическими позициями в большой мере продопределила тому данной статьи, в которой весьма конспективно излагается один из вариантов (скорее всего не окончательный) концепции, дающей возможность описывать УК в славянских языках, как впрочем и в любых других языках, в такой форме, которая позволяет эксплицитно представить как их общие, прежде всего семантические свойства, так и их типологические, прежде всего формальные различия, кстати говоря не так уж редко наблюдаемые в родственных языках. В предлагаемой концепции находят дальнейшее развитие те принципы исследования, которые приняты в работах, выполненных в Лаборатории типологического изучения языков Института лингвистических исследований РАН⁸.

2. Концептуальная база.

2.1. Формально-сintаксические типы УК.

Первая проблема, которая возникает при типологическом изучении УК, может быть сформулирована следующим образом. Какие эмпирические факты разных языков с семантической точки зрения соответствуют концепту 'условная конструкция'? Представляется, что отвечать на этот вопрос можно двумя способами. Во-первых, можно начать с предъявления примеров, соответствующих концепту, а затем попытаться определить этот концепт. Во-вторых, можно начать с определения концепта, а затем привести примеры, подводимые под этот концепт. Мы предпочитаем первый способ, поскольку путь от фактов к концепту представляется более удобным для читателя, чем обратное движение. По этой причине мы начнем с предъявления примеров.

Во всех славянских языках, как впрочем и в любых других, встречаются предложения, эквивалентные по смыслу следующим русским: (1) *Если завтра будет хорошая погода, мы поедем за город*, (2) *Если завтра будет хорошая погода, поезжай за город!*, (3) *Если завтра будет хорошая погода, мы поедем за город?*, (4) *Если бы (вчера/завтра) была хорошая погода, мы бы поехали за город*, (5) *Будь я воружен, президента выбрали бы еще вчера*, (6) *Бояться волков – быть без грибов*, (7) *Взле пешку, белые получали (бы) выигрышную позицию*, (8) *Придерживаясь этой точки зрения, вы не решите ни одной проблемы*, (9) *Эта кошка, сброшенная с высоты первого этажа, встанет на лапы*, (10) *При ходе конем белые выигрывают*, (11) *Без положительного ответа от фирмы мы не получим визы*, (12) *В случае опасности вы можете уехать из города*, (13) *Дайте мне точку опоры и я пересекну земной шар*, (14) *Скажи еще одно слово и я засоню в полицию*, (15) *Если ты хоть немножко отдохнешь, будет просто замечательно!*, (16) *Если он арестован, я пропала!*, (17) *Вы идете? Я вас подожду*.

Представляется, что с семантической точки зрения эти и подобные им повествовательные, повелительные, вопросительные и восклицательные предложения, а также комбинации предложений можно квалифицировать как условные (хотя бы в одном прочтении, если прочтений больше одного)⁹.

Подчеркивая семантическое тождество приведенных предложений (все они являются условными), необходимо отметить их фор-

мально-синтаксическую неоднородность. Среди этих предложений в соответствии с традиционной классификацией различаются:

- 1) сложноподчиненные (расчлененные) предложения (1–6, 15–16),
- 2) осложненные предложения, т.е. простые предложения с доенерчастным или причастным оборотом (7–9), 3) простые предложения с обстоятельствами,
- 4) сложносочиненные предложения (13–14),
- 5) последовательности предложений, формально не связанных друг с другом (17).

Важно обратить внимание на то, что в соответствии с традиционными установками, существующими в славистике, квалификация конструкций осуществляется с учетом как семантических, так и грамматических критерios. При таком подходе исследователи часто не находят достаточных оснований, чтобы включить простые предложения типа (10–12), сложносочиненные предложения типа (13–14), последовательности формально не связанных друг с другом предложений типа (17) и даже осложненные предложения типа (7–9) в число УК.

Формально-синтаксический статус УК играет немаловажную роль при решении вопроса о том, какие из УК, представленных в данном языке (или в родственных языках), являются прототипическими, исходными, а какие — периферийными, производными, способными по определенным правилам трансформироваться в исходные. Скажем, в славянских языках к числу прототипических УК безусловно относятся сложносочиненные предложения типа (1–6, 15–16)¹⁰, тогда как простые предложения типа (10–12), осложненные предложения типа (7–9), сложносочиненные предложения типа (13–14) и последовательности формально независимых предложений типа (17) являются периферийными УК. В других языках ситуация может быть иной. Например, в эскимосо-илюэтских и тунгусо-манчжурских языках условных сложноподчиненных предложений вообще нет и прототипическими УК являются осложненные предложения. Естественно фреквенталией, и скорее всего и универсалией следует считать тот факт, что простые предложения с обстоятельствами условия¹¹, сложносочиненные предложения и последовательности формально независимых предложений по относятся к числу прототипических УК. Это связано с семантическим устройством УК, к рассмотрению которого мы сейчас переходим.

2.2. Смысловые особенности УК.

2.2.1. Бипредикативность.

При любой формальной репрезентации (будь то сложноподчиненное, осложненное, простое, сложносочиненное предложение или последовательность формально независимых предложений) УК представляет собой бипредикативную (бипропозитивную) конструкцию. Это значит, что в УК выражаются две пропозиции, или два положения вещей, из которых одно определенным образом зависит от другого. Данное обстоятельство объясняет тот факт, что прототипическими УК не бывают, во-первых, простые предложения, в которых прототипически выражается одна пропозиция, во-вторых, сложносочиненные предложения, между частями которых, как принято считать, прототипически не должно быть отношения семантической зависимости¹² и, в-третьих, последовательности формально самостоятельных предложений.

Таким образом, с семантической точки зрения любая УК состоит из двух частей, для обозначения которых в языкоизнании используется несколько пар соотносительных терминов, призванных отразить семантическую специфику зависимой и независимой частей УК. В отечественной литературе наиболее употребительной является пара: условие (р) – следствие (q). Пользуясь этими терминами, мы можем сказать, что в примере (1), представляющем прототипическую УК, зависимая часть выражает условие, а независимая (главная) часть выражает следствие.

Бипредикативность присуща многим другим конструкциям, в частности, временными, причинными, уступительными. Специфичной для УК оказывается интерпретация зависимости между частями этой конструкции.

Принципиальную бипредикативность УК не колеблет появление различных элементов (вводных слов, вводных выражений, предложений, соппозициональным актантам которых являются условные предложения), репрезентирующих функции внешней модальной рамки, у которых есть валентность на своего специфического модального субъекта, в роли которого обычно выступает говорящий¹³. Ср.:

(18)а *Я думаю, что если будет хорошая погода, то мы поедем за город.*

(18)б *Если будет хорошая погода, то (я) думаю, мы поедем за город.*

(18)в *Если будет хорошая погода, то мы, возможно, поедем за город.*

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что в отдельных языках, в том числе и в славянских, ре presentантами значений некоторых функторов вной модальной рамки могут выступать специальные глагольные формы. Сравним в этой связи следующие болгарские предложения:

(19)а *Ако събера повече пари, ще си купя хубаво радио* 'Если накоплю побольше денег, куплю себе хороший радиоприемник'.

(19)б *Ако събера повече пари, бих си купил хубаво радио* 'Если накоплю побольше денег, то, возможно, куплю себе хороший радиоприемник'.

Формально предложение (19)б, где представлена испуленой функтор, отличается от предложения (19)а, где функтор "нулевой", тем, что в его главной части выступает форма условного наклонения, тогда как в предложении (19)а употреблена форма будущего времени.

2.2.2. Гипотетичность.

Обычно, характеризуя смысл УК, говорят о том, что в зависимой части УК обозначается такое положение вещей, которому в случае его осуществления сопутствует другое положение вещей, обозначаемое в главной части УК. Сказанное, очевидно, справедливо, если главная часть УК представляют собой повествовательное предложение, в котором реализуется некоторое сообщение. Соответственно подобная УК выступают в акте речи как поассорттивное, или гипотетическое высказывание. Это значит, что в любой такой УК, например, в предложении (1), и зависимая часть, выражающая условие, и главная часть, выражающая следствие, рассматриваются говорящим по отношению к миру не как действительные, т.е. фактические, а как возможные или невозможные, т.е. нефактивные.

Несколько иная ситуация складывается, если главная часть УК представляют собой поболительное, вопросительное или восклицательное предложение. В этом случае осуществление положения вещей, выражаемого в зависимой части, служит обоснованием для осуществления речевого акта, выражаемого в главной части УК. Разумеется, что и УК этого типа реализуются как поассорттивные, или гипотетические высказывания. Соответствен-

но в таких УК и зависимая часть, выражающая условие, и главная часть, представляющая речевой акт, выступающий как следствие, рассматриваются говорящим по отношению к миру не как действительные, т.о. фактивные, а как возможные или невозможные, т.е. нефактивные. Указанная смысловая особенность составляют универсальный отличительный признак УК.

Существенно однако при этом обратить внимание на следующее важное обстоятельство. Представляется, что говорящий, произнося УК, как бы просит слушающего считать это высказывание фактивным. Можно полагать, что, исходя из принципа кооперации, слушающий соглашается с просьбой говорящего. В таком случае он относится к зависимой части УК как к пресуппозиции, на базе которой высказывается сообщение, вопрос, повеление, восклицание, содержащееся в главной части УК.

Учитывая изложенное, можно предложить следующее приблизительное толкование УК: 'произнося УК, говорящий считает, что в случае реализации одного положения дел, которое в принципе может иметь место в реальном или воображаемом мире, ему сопутствует, т.е. реализуется некоторое другое положение дел или некоторый речевой акт'.

В данном толковании используются понятия реального и воображаемого мира. Легко догадаться, что в соответствии с принятой классификацией миров все УК делятся на два класса. В один класс входят УК, выражающие гипотезу, которая может выражаться в реальном мире, а в другой класс соответственно входят УК, выражающие гипотезу, которая может реализоваться в воображаемом мире. Ср. в этой связи примеры (1) и (4).

2.2.3. Логика связи между условием и следствием.

Для лингвистов очевидно наличие смысловой связи между условием и следствием в УК. Вместе с тем понятие связи не фигурирует у логиков при анализе импликации, которая, как принято считать, отображаются в естественном языке с помощью УК. В литературе не без основания обращалось внимание на то, что таблица материальной импликации "упускает идею связи, которая присутствует в случае if – then"¹⁴.

Мы полагаем, что в УК обе ее части связаны друг с другом именно таким образом, который позволяет и говорящему, и слушающему одни часть квалифицировать как условие, а другую –

как следствие. Вместе с тем в объективной действительности между положениями дел, квалифицируемыми как условие и следствие, естественная связь наблюдается отнюдь не всегда.

Если условие и следствие связаны естественной связью, то эту связь можно характеризовать как "причинно-следственную" (осуществление условия независимо от воли говорящего автоматически влечет за собой выполнение следствия). Роль говорящего сводится к тому, что он, зная о наличии объективной закономерности, сообщает о ней слушающему.

(20)а *Если температура воздуха упадет ниже нуля, то вода замерзнет.*

В примерах этого типа по прагматическим причинам нельзя преобразовать условие в следствие, а следствие в условие.

(20)б *?Если вода замерзнет, то температура воздуха упадет ниже нуля.*

В очень многих случаях естественной причинно-следственной связи между условием и следствием нет и логика их объединения составляет "тайну" говорящего, т.е. определяется исключительно его собственными прагматическими соображениями.

(21)а *Если она не вымоет пол, то я буду спать целый день.*

В примерах этого типа вполне возможно преобразовать условие в следствие, а следствие в условие.

(21)б *Если я буду спать целый день, то она не вымоет пол.*

Представляется, что в (2а) истинная причина, вызывающая данное следствие, если она есть, не называется. Скорее всего "причиной" является воля говорящего. Что касается невымытого пола, то его следует характеризовать не как причину, а как по-вод, принимающий форму условия. Заметим между прочим, что повод обычно подыскивается для "оправдания" заранее запланированного следствия.

В итоге можно прийти к выводу, что в общем случае логика связи между положениями дел в УК неопределенна. В принципе сам говорящий устанавливает эту связь. Лишь в частном случае такая связь может интерпретироваться как причинно-следственная, причем такое толкование не является компонентом условного значения¹⁵.

3. Основания для классификации УК. Исчисление.

Для универсальной исчисляющей классификации УК предлагаются три параметра.

Первый параметр, который специфичен только для УК, – это отношение к миру гипотезы, высказываемой в УК. Данный параметр принимает два значения: 1) УК выражает гипотезу, которая относится к реальному миру, 2) УК выражает гипотезу, которая относится к воображаемому миру.

Второй параметр – таксисная зависимость между условием (p) и следствием (q). Этот параметр, который в принципе релевантен для всех бипредикативных конструкций, принимает три значения: 1) p раньше q , 2) p позже q , 3) p одновременно с q .

Третий параметр – временная отнесенность условия и следствия. Как известно, любое локализованное во времени положение вещей может быть отнесено либо к будущему, либо к настоящему, либо к прошедшему. Соответственно данный параметр, который релевантен для всех бипредикативных конструкций, принимает девять значений: 1) q в будущем, p в будущем, 2) q в будущем, p в настоящем, 3) q в будущем, p в прошедшем, 4) q в настоящем, p в будущем, 5) q в настоящем, p в настоящем, 6) q в настоящем, p в прошедшем, 7) q в прошедшем, p в будущем, 8) q в прошедшем, p в настоящем, 9) q в прошедшем, p в прошедшем¹⁶.

Исчисляющая классификация, проведенная по этим трем параметрам, включает 54 модели УК. Это число представляет собой результат перемножения значений каждого из классификационных параметров: $2 \times 3 \times 9 = 54$. Однако из логически допустимых 54 моделей реально функционируют только 26. Тем самым количество функционирующих моделей относительно невелико и каждой модели соответствует достаточно широкий класс конкретных употреблений УК.

Небольшой фрагмент предлагаемого исчисления представлен в следующей таблице.

№	классификационные параметры			примеры
	I	II	III	
1.	1	1	1	<i>Если он купит машину завтра, то он заплатит большой налог.</i>

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 2. | 2 | 1 | 1 | <i>Если бы он купил машину завтра, то он бы заплатил большой налог.</i> |
| 49. | 1 | 1 | 9 | <i>Если он купил машину вчера, то он заплатил большой налог.</i> |
| 50. | 2 | 1 | 9 | <i>Если бы он купил машину вчера, то он бы заплатил большой налог.</i> |
-

4. Обсуждение результатов.

4.1. Функционирование реализуемых моделей.

Хотя с системной точки зрения все реализуемые модели логически равноправны, при функционировании в речи картина заметным образом меняется. В этом плане мы можем говорить о pragматических предпочтениях и ограничениях, которые неодинаковы для разных моделей. Отметим, в частности, что большинство реальных текстовых примеров приходится на долю моделей № 1 и № 50, которые представлены в приведенном фрагменте исчисления.

В модели № 1 выражается гипотеза, относимая к реальному миру (первое значение первого параметра), условие предшествует следствию (первое значение второго параметра), условие и следствие отнесены к будущему (первое значение третьего параметра). Решающим фактором, определяющим частотность этой модели, с нашей точки зрения, служит то обстоятельство, что в ней и условие, и следствие отнесены к будущему времени. Дело в том, что будущее время уже по своей сути является гипотетическим и поэтому оно представляет собой наиболее удобную среду для реализации гипотезы, относимой к реальному миру¹⁷. Степень гипотетичности естественным образом уменьшается по мере движения от будущего времени к прошедшему. Соответственно в модели № 49, включенной в представленный фрагмент исчисления, в которой и условие, и следствие отнесены к прошедшему времени, речь идет о положениях вещей, которые в принципе могли осуществиться, но говорящий в момент речи просто не знает, какова реальная ситуация.

В модели № 50 выражается гипотеза, относимая к воображаемому миру (второе значение первого параметра), условие пред-

шествует следствию (первое значение второго параметра), и условие и следствие отнесены к прошедшему (девятое значение третьего параметра). Частотность этой модели объясняется тем, что в ней отнесенность гипотезы к воображаемому миру сочетается с отнесенностью условия и следствия к прошедшему времени. Такая сочетаемость представляется наиболее естественной. Дело в том, что положения вещей, связанные с воображаемым миром, в принципе существуют только в головах людей. Если такие положения вещей локализованы в прошедшем, то они уже не могут перейти из воображаемого мира в реальный. Эти неосуществившиеся возможности по сути дела представляют собой те сценарии, которые не попали в реальный мир, хотя в принципе могли в него попасть.

Важная особенность неосуществившихся возможностей, выражаемых в УК этой модели, состоит в том, что они абсолютно точно указывают на те возможности, которые осуществились, т.е. перешли из воображаемого мира в реальный. Осуществившиеся возможности являются антонимичными по отношению к неосуществившимся.

(22) *Если бы студент решил вчера задачу, он бы сдал экзамен.*

(23) *Если бы я не получил приглашение, я бы не поехал на конференцию.*

Решение задачи из примера (22) и не получение приглашения в примере (23) – это те неосуществившиеся возможности, которые отнесены к воображаемому миру. Те же возможности, которые осуществились, – это нерешение задачи в примере (22) и получение приглашения в примере (23).

Грань между реальным и воображаемым миром, столь резко очерченная в прошедшем, может стираться в будущем, которое по своей природе является уже гипотетичным, и где по этой причине до известной степени может нейтрализоваться оппозиция значений первого классификационного параметра. Сравним в этой связи предложения (24)а и (24)б, относимые к моделям № 1 и № 2:

(24)а *Если бы вы купите мне завтра дачу, я выйду за вас замуж,*

(24)б *Если бы вы купили мне завтра дачу, я бы вышла за вас замуж.*

Суть семантических различий между этими предложениями, очевидно, сводится к большей или меньшей степени вероятности осуществления высказываемой гипотезы. Стирание грани между реальным и воображаемым миром в плане будущего может приводить к тому, что подобные предложения иногда отличаются друг от друга только степенью вежливости:

(25)а *Если вы приедете к нам в среду, мы будем очень рады.*

(25)б *Если бы вы пришли к нам в среду, мы были бы очень рады.*

Однако не следует думать, что грань между реальным и воображаемым миром всегда стирается в будущем. Проанализируем в этой связи предложение

(26) *Если бы он купил машину завтра, то он заплатил бы большой налог.*

У этого предложения два прочтения. Одно прочтение отражает ситуацию, когда машина еще не куплена и ее покупка представляется весьма гипотетичной. Другое прочтение отражает ситуацию, когда машина уже куплена и тем самым в предложении речь идет о неосуществимой возможности, которая антонимична по отношению к осуществившейся.

Гипотеза, относимая к реальному миру, и гипотеза, относимая к воображаемому миру, противоположным образом коррелируют с планами временной отнесенности. Если для гипотезы, относимой к реальному миру, наиболее типична отнесенность к будущему, то для гипотезы, относимой к воображаемому миру, наиболее типична отнесенность к прошедшему.

Поскольку УК – гипотетическое высказывание, то в силу этого существуют прагматические ограничения, препятствующие говорящему выступать в роли субъекта некоторых положений дел, выражаемых в условии, в том случае, если эти положения дел локализуются в настоящем или прошедшем и если гипотеза относится к реальному миру. Сравним, например, предложения

(27)а *Если у тебя сейчас болит голова, то прими таблетку анальгина.*

(27)б *Если бы у меня сейчас болела голова, то я бы принял таблетку анальгина.*

(27)в ?*Если у меня сейчас болит голова, то я приму таблетку анальгина.*

Предложение (27)в в отличие от предложений (27)а и (27)б является прагматически некорректным, потому что в его условии выражается такое положение дел, в фактивности или нефактивности которого у говорящего в стандартной ситуации не должно быть сомнений. Однако в нестандартной ситуации у говорящего могут возникнуть основания для того, чтобы усомниться, болит у него голова или нет. Такая нестандартная ситуация встретилась мне в одной сказке, где придворные долго убеждали короля в том, что у него болит голова, хотя он головной боли и не чувствовал. В результате им почти удалось убедить короля и он произнес следующую фразу, которая с учетом речевой ситуации является прагматически абсолютно корректной:

(27)г *Ну, если у меня действительно болит голова, то я приму таблетку анальгина.*

Существенно отметить, что положения вещей с постоянными свойствами и признаками стандартно употребляются в УК, если выражаемая гипотеза относится к воображаемому миру, и не употребляется в УК, если выражаемая гипотеза относится к реальному миру. Сравним в этой связи нормативное предложение (28)а и прагматически странное предложение (28)б:

(28)а *Если бы он был женщиной, то у него было бы много поклонников.*

(28)б ?*Если он будет женщиной, то у него будет много поклонников.*

То же следует сказать о положениях вещей с предикатами, обозначающими преходящие свойства и признаки, но обязательно присущие субъекту в определенный период времени. Сравним в этой связи нормативное предложение (29)а и прагматически странное предложение (29)б

(29)а *Если бы мне было 16 лет, то я бы поехал в Москву.*

(29)б ?*Если мне будет 16 лет, то я поеду в Москву.*

4.2. "Условные конструкции", не вошедшие в исчисление.

Относительно широко в различных текстах встречаются "УК" типа

(30) *Если газеты опаздывают, то за ними выстраиваются большие очереди.*

Их семантическая специфика заключается в том, что в них выражаются повторяющиеся положения вещей, не имеющие конкретной временной отнесенности. Отсутствие конкретной временной отнесенности оставляет эти конструкции за рамками исчисления, поскольку временная отнесенность условия и следствия является одним из параметров исчисляющей классификации. К тому же вряд ли можно говорить, что в подобных конструкциях выражается гипотеза. Скорее можно считать, что в этих конструкциях речь идет о некотором закономерном сопутствии двух положений вещей. Видимо не случайно любую такую конструкцию можно преобразовать во временную практически без изменения смысла:

(31) *Когда газеты опаздывают, за ними выстраиваются большие очереди.*

4.3. Заключительные замечания.

Завершая краткие и сугубо предварительные комментарии к предложенной исчисляющей классификации, подчеркнем, что все ее параметры являются семантическими, а не формальными. Иными словами, речь идет о значениях, а не о формальных средствах, выраждающих эти значения в конкретных языках.

Предложенная классификация составляет базу анкеты, в соответствии с которой должны описываться УК в различных конкретных языках. Эта анкета включает вопросы по семантике, прагматике, морфологии и синтаксису УК. Иными словами, формальная специфика УК, составляющая основу для их типологической характеристики, устанавливается при анализе того, как реализуемые модели исчисляющей классификации функционируют в конкретных языках и какие формальные средства используются для их маркировки. Типологические особенности УК связаны главным образом с употреблением различных финитных и инфинитных глагольных форм в зависимой и главных частях УК, с количеством употребительных условных союзов и их дистрибуцией по моделям исчисляющей классификации, с соотношением союзных и бессоюзных УК в системе и тексте.

Примечания

¹ Впечатляющие результаты разноспектных исследований УК, проведенных лингвистами, психологами, логиками и философами, представлены в коллективной монографии: *Traugott E.C. Meuleter A., Reilly J.S., Ferguson C.A. (eds.). On Conditionals. Cambridge, 1986.* По мнению составителей и редакторов этой монографии, УК играют весьма важную роль в речемыслительной деятельности человека, поскольку "они непосредственно отражают типично человеческую способность размышлять об альтернативных суждениях, делать выводы, основанные на неполной информации, предполагать возможные корреляции между ситуациями и понимать, как мир менялся бы, если бы определенные корреляции были бы другими. Понимание концептуальной и поведенческой организации этой способности конструировать и интерпретировать условные конструкции обеспечивает понимание когнитивных процессов, лингвистической компетенции и выводных стратегий человеческой деятельности" (р.3).

² См., например: Русская грамматика. Т. I. М., 1980. С. 562.

³ См., например: *Stefanški W. La proposition conditionnelle dans les langues indo-européennes. Poznan, 1987.*

⁴ *Hajman J. Conditionals are Topics // Language. 1978, № 3. 1. 564; Dik S.C. On the Semantics of Conditionals // Nuyts J., Bolkestein A.M., Vet C. (eds.) Layers and Levels of Representation in Language Theory. A functional view. Amsterdam, 1990.*

⁵ Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970. С. 126.

⁶ *Danielsen N. Zum Wesen des Konditionalsatzes nicht zuletzt im Indoeuropäischen // Odense University Studies in Linguistics. 1968. Vol. 1.*

⁷ *Comrie B. Conditionals: a Typology.* Эта статья опубликована в коллективной монографии, указанной в примечании 1.

⁸ См., например: *Оглоблин А.К., Храковский В.С. А.А. Ходорович. Творчество и научная школа // Типология и грамматика. М., 1990; Храковский В.С., Оглоблин А.К. Группа типологического изучения языков ЛО Института языкоznания СССР. Теоретическая программа, исследовательские принципы, рабочие приемы // ВЯ. 1991, № 4.*

9 Необходимо оговориться, что та или иная коммуникативная установка говорящего фактически относится только к главной части УК. Лишь при обратном порядке частей УК, который возможен не во всех языках, под вопрос или восклицание может ставиться зависимая часть или точнее связь между главной и зависимой частями УК. Например: (3)а *Мы поедем за город, если завтра будет хорошая погода?*, (15)а *Будет просто замечательно, если ты хоть немножко отдохнешь!*

10 Впрочем сложноподчиненные условные предложения и сами по себе формально неоднородны. В частности, бессоюзные предложения типа (5) и в особенности типа (6) скорее всего имеет смысл описывать как трансформы предложений, вводимых союзами.

11 Интересно в этой связи напомнить известный факт, что не-производные наречия условия и соответствующее вопросительное слово как-будто бы отсутствуют в конкретных языках.

12 Высказанное утверждение значимо лишь в рамках синхронного анализа. С диахронической точки зрения "сложносочиненные предложения", видимо, послужили базой для формирования сложноподчиненных и осложненных предложений.

13 Касевич В.Б., Храковский В.С. От пропозиции к семантике предложения // Типология конструкций с предикатными актантами. Л., 1985.

14 Stalnaker R. A Theory of Conditionals. 1975. P. 167. Чит. по работе: Haiman J. Указ. соч. Р. 578.

15 Haiman J. Указ. соч. Р. 579.

16 Данный параметр иррелевантен для УК с нелокализованными во времени положениями вещей (типа *Если он умный, он все поймет*, *Если он умный, он все понял*) и они не учитываются исчислением.

17 К этой модели относятся и предложения типа *Если я поеду в Москву, то я куплю новую сумку*. Особенность таких предложений заключается в том, что они имеют два прочтения. Одно – стандартное, в соответствии с которым условие предшествует следствию. Второе прочтение отличается от первого тем, что сумка будет куплена до поездки в Москву, т.е. на первый взгляд следствие предшествует условию, что в некотором смысле алогично. В действительности и при втором прочтении условие предшествует следствию, однако положение дел, выражаемое в условии, – это не поездка в Москву, а знание о поездке в Москву. Иными словами, второе прочтение связано с эллипсисом, при восстановлении которого образуется полная конструкция типа *Если я*

буду знать, что я поеду в Москву, то я куплю новую сумку. Таким образом, здесь наблюдается то же явление, которое знакомо нам по повелительным условным предложениям типа *Если вы хотите есть, то / знайте, что/ картошка на плите*. Все же определенные формальные отличия есть и заключаются они в том, что в первом случае эллиптируемый элемент относится к условию, а во втором случае – к следствию.

О ФОРМАХ ОТРИЦАНИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ БЕЛОРУССКИХ ГОВОРАХ

Вопрос о формах отрицания в белорусских диалектах (как, впрочем, и в истории языка) специально почти не изучался. "Лингвистический атлас беларусской мовы" (Минск, 1963) и связанные с ним общие исследования по белорусской диалектологии и лингвистической географии¹ не содержат никаких сведений о судьбе отрицательных конструкций, как если бы говоры представляли в этом отношении единую картину, ничем не отличающуюся от литературной нормы. Между тем есть основания полагать, что это далеко не так, и надо надеяться, что специальные разыскания заполнят со временем эту явную лакуну в области изучения белорусского диалектного синтаксиса.

На специфические диалектные формы отрицания, в частности, на факты так называемой мононегации (отсутствия отрицания при сказуемом, если в препозиции к последнему находятся другие отрицательные слова) в белорусских говорах впервые обратил внимание В.И. Борковский². Опираясь на показания смоленских грамот (примеры типа: *аще роусъскии гость въ ризѣ или на готьскомъ березѣ извинит сѧ никако же его въсадити въ дыбоу* – из торгового договора с Ригою и Готским берегом 1229 г., и т.п.) и спорадические свидетельства старобелорусских памятников (ср. пример из апокрифа XV в. "Страсти Христовы": *дуже никому по-ведаите словѣ тыѣ которые казали есте намъ въ иссе*), он предположил, что в говорах следы негативных конструкций без прилагольного отрицания могли сохраниться до нашего времени. Предположение подтвердили данные проведенного им опроса белорусских языковедов: четверо из них – уроженцы Витебской, Гродненской,

Могилевской обл. — привели *ad hoc* примеры из родных говоров типа: *н'и штоб рб'иш, н'айдз' ё дз'ён'ица, н'адз' ё пазычыш*, или *н'и йон каму дрэннайе слбва сказбӯ, н'и кагб пакрыўдз'иў*.

Наблюдения В.И. Борковского, которыми пока и исчерпываеться литература вопроса, можно сразу же дополнить извлечениями из словаря Носовича³: *николи было, николи и будзець іэто; никуды трацим, усе ж своим брацим; нипрошто ён тут быв* (с. 340); ср. также *ани труны дзелаць кому, ани ямы копаць* (с. 6); примером, попавшим в поле зрения Карского: *ни бацька спрауляу, ни сын'юсіл* (из фольклорного собрания Е.А. Ляцкого)⁴; речением из современных записей: *ні калі было, ні калі будзе*.

Кроме того, негативные обороты без отрицания при сказуемом встречались нам в северо-западных белорусских говорах, контактирующих с литовским и польским, причем, как правило, в экспрессивной, эмфатически интонируемой речи. Приведем наши записи из д. Пеляса Вороновского р-на Гродненской обл. Материал группируется по двум типам конструкций.

1. В общеотрицательных предложениях частица *не* может отсутствовать перед сказуемым, если оно находится в постпозиции к однородным членам, связанным парным отрицательным союзом: *ні нашыя дэяды, ні прадэяды помніаць — даўно іэта быўши; ани прасць, ани ткаць трэба тэрэз — святая вечары ў нас; ні на капытніку, ні ў калгінах грымотнік расце, але пры дарозе, па баках, дзе поля слабша;*

при однородных сказуемых: *ні ён табе што сказау, ні крыўду якую зрабіў — ўзяў і забіў чалавека; ани жыне пыталися; ани чапалі; бацька ні яго прагнаў, ні яго клёў — быў яму рады;*

перед сказуемыми однородными отрицательных предложений (или во всяком случае перед последним из них): *ні галавы мне балела, ні я ўчадзяў; ні цэлтка было, ани слівы ест; ні таты не пушчу, ні сама пайду; ні я там чаго ўсіджу, ні я там каму патрэбна, але ж мушу ісці да іх; нляўжытная поля — пі хто гараш яго, ні хто рушыў яго, веc ялаўцы таж былі і пласок.* По поводу последнего примера заметим, что в нем представлены словосочетания *ні + неопределенное местоимение хто* (а не отрицательное местоимение *ніхто*), ср. возможную равнозначную трансформацию: — *ні яго хто гараш, ні яго хто рушыў.* Следовательно, этот случай отличен от непарного отрицания (отсутствия прилагольного от-

ричания после отрицательных местоимений и наречий) в русских северо-западных говорах: *дома-то никто есть, он нигде был, никуды годится* и т.п.⁶. Отрицательные обороты со словами этой категории в пелясском говоре как раз последовательно полинегативны, ср.: *ніхто веніка не вяжа барозавага да Сёмухі, да Залёных свёнікай; ніхто булкаў на еў, як хлеб шатраваны спаклі; нідзе табе дарогаў няма – никуды с тваёй гаворкай ні пойдзяш; николі каровы не выганаляті на расу ў той дзень.*

2. К явлениям мононегации следует, по-видимому, отнести эмфатические предложения типа: *ані ён хадзіў да касцёла! – кальвін ён быў; ані мне людзі замінаюць – з людзіма лепей, як адной; ані вы случайца! ані ён знаў тых песняў – стары ўжо; ані трава расце ў тых кудрах! ; ні зубоў балела – здаровы чалавек быў!*

Эти предложения употребляются в говоре наряду с их синтаксическими синонимами – либо тоже экспрессивными: *ані ён не хадзіў да касцёла; ані мне людзі не замінаюць* и т.п. (где *ані* – наречие ‘совсем’, ‘вовсе’), либо стилистически нейтральными: *ён не хадзіў да касцёла; мне людзі не замінаюць* и т.п. На их фоне мононегация и транспортировка отрицания в начальную позицию выступают как средство усиления отрицания и подчеркивания его субъективности.

В литовском и польском говорах Пелясы отрицательные конструкции совершенно изоморфны приведенным белорусским, ср. *nei aš jo pažynōč, nei as jo ragéjou; nei man svietas m̄ešio! ni go vidz'ałem, ni go poznałem; ani mn'e ludz'e pšeškadzajon!* Но прежде чем определять направление заимствования или влияния, следует установить структурные типы и ареал этого явления, известного как в литовском и польском, так и в белорусском историческом и диалектном синтаксисе.

Примечания

¹ Нарысы па беларускай дыялекталогіі. Мінск, 1963; Лінгвістычна геаграфія і групоўка беларускіх гаворак. Т. 1, 2. Мінск, 1968, 1969.

² Баркоускі В.І. Да гісторыі аднаго віду адмоўных сказаў у беларускай мове//Беларускае і славянскае мовазнаўства. Мінск, 1972. С. 65–69.

- ³ Пасовіч І.І. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
- ⁴ Карский Е.Ф. Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 2—3. М., 1956. С. 450.
- ⁵ Беларуская народная творчасць. Выслоўі. Мінск, 1979. С. 81.
- ⁶ Філіп Ф.Л. Из наблюдений над синтаксисом северо-западных говоров // Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им. А.И. Герцена. Л., 1948. Т. 69. С. 159—169.

СЛАВЯНСКАЯ И НЕСЛАВЯНСКАЯ НОРМА: ПОРЯДОК СЛОВ В ТЕКСТАХ XVIII ВЕКА

Изменения в области порядка слов, смена одних норм другими достаточно часто является результатом иноязычного воздействия. Особенно важным может быть это воздействие для вновь формирующегося литературного языка, в той или иной степени ориентирующегося на более разработанные литературные языки. В каждой конкретной ситуации возникает вопрос, какой же будет новая норма, какие из иноязычных моделей она воспримет (когда язык как бы нуждается в них) и какие из этих моделей будут отвергнуты, как и когда начнется этот процесс восприятия чужих моделей.

Для русского литературного языка очень важным временем является в этом отношении первая треть XVIII века. Известно, что в это время в произведениях самых разных типов в тех случаях, где в современном языке господствует устоявшаяся норма, возможно было существование различных вариантов порядка слов в пределах одного текста¹. Столкновение нескольких противоречавших друг другу тенденций словорасположения давали картину не-нормативности, неупорядоченности. В текстах с риторической направленностью (как правило, но не всегда, связанных с церковнославянской книжностью) вариативность могла быть сознательно вызвана применением определенных приемов построения периода, например, хиазма, или параллелизма и т.п. Иные принципы словорасположения были характерны для переводимых с латыни и немецкого научных и технических текстов, т.е. текстов, не связанных правилами риторики. Именно эти тексты принято считать источником широко распространившегося в начале XVIII века шаб-

лона в области порядка слов – помещение глагола в конец фразы, после зависимых от него слов². По-видимому, влиял на порядок слов в литературном языке и синтаксис языка делового. Хотя связь между построением сложных синтаксических конструкций делового и литературного языка того времени легче прослеживается, чем связь между взаиморасположением компонентов словосочетания, все же очевидно, что взаиморасположение компонентов словосочетания в деловом тексте отличались от их взаиморасположения в латинских и немецких оригиналах русского перевода³.

Результатом столь разнонаправленных воздействий было отсутствие нормы в области порядка слов. Когда же начинает формироваться норма? Традиционно принято относить начало этого процесса ко второй половине или даже последней трети XVIII столетия⁴. Возникновение этих норм во многом связано с тем, что на смену влияния латинского и немецкого синтаксиса приходит влияние синтаксиса французского, со строго нормированным порядком слов. Реформирование в этом направлении русского синтаксиса определялось прежде всего деятельностью Карамзина и его единомышленников⁵. В то же время известно, что языковая программа Карамзина, ориентирующаяся в области синтаксиса, с одной стороны, на европейский, французский образец, с другой – на живое, разговорное употребление, была во многом уже намечена в работах Третьяковского раннего периода, т.е. до 1745 года⁶. Известно, что уже в первой половине XVIII века в России сложился круг, довольно замкнутый, состоящий в основном из дипломатов, чья культурная ориентация на Европу и прежде всего на Францию, прекрасное знакомство со всеми литературными новинками Парижа, свободное владение французским языком, даже обычай переписываться по-французски⁷ типичны скорее для начала XIX века, нежели XVIII. В этот круг входил А.Л. Кантемир, с ним был связан Третьяковский. Языковая программа Третьяковского той поры, видимо, в значительной степени разделялась этим кругом. Конкретная же языковая практика, в частности, переводческая, могла находиться в довольно сложном соотношении с этой программой⁸. Так, из переводов Третьяковского и Кантемира могли изгоняться маркированно-книжные церковнославянismы (морфологические, лексические) при сохранении немаркированных. В целом лексические и морфологические особенности этих переводов

позволяют утверждать, что их значение для "отрицания славяно-книжного типа как основной формы русского литературного языка ... было прочным, очевидным и бесспорным"⁹. Какова же роль этих текстов в формировании новой нормы литературного языка, новой нормы словорасположения? Стремились ли их создатели в какой-то степени к нормативности словорасположения в своих переводах? Похож ли порядок слов в их текстах на тот, который появится позднее в произведениях Карамзина?

Рассмотрим четыре перевода, появившихся почти одновременно. Это "Таблица Кевика философа или изображение жития человеческого, переведено с французского князем Антиохом Кантемиром в Москве лета Христова 1729"; "Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла с французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 году"; "Езда в остров любви. Переведена с французского на российский Василем Тредьяковским в 1730 году" и "Предлог, по данный от господ учителей Сорбонских его царскому величеству, когда он изволил быть в доме Сорбонском в 1717 году, касающийся о посредствиях к соединению великокорсийская церкве с латинскою притом же и ответы оным Сорбонским учителям на тот предлог от российских архиереев, переведено на простой российский язык" (перевод выполнен А.А. Вешняковым в 1729 году)¹⁰. Автор последнего перевода, Алексей Андреевич Вешняков — русский дипломат, чья деятельность была в основном связана с русской миссией в Константинополе, переписывался и был в дружеских отношениях с Кантемиром и Тредьяковским, переводил на французский язык Первую сатиру Кантемира, по-видимому, выполнил ряд переводов с французского¹¹. Перевод представляет собой рукопись, хранящуюся в архиве внешней политики России, фонд Константинопольская миссия, д. 10/1. Рукопись ранее не описывалась, французский оригинал текста приводится у Бурсье¹².

1. Рассмотрим глагольные словосочетания, самые распространенные сочетания любого текста, во многом определяющие его "лицо". Самый характерный шаблон словорасположения того времени — препозиция зависимых членов по отношению к глаголу. Источником такого порядка слов являются многочисленные переводы с латыни и немецкого текстов нериторической направленности. Распространение этой модели чрезвычайно широко: она равно

присутствует и в переводе "Географии генеральной"¹³, и в предисловии к букварю Феофана Прокоповича (на 37 случаев препозиции 14 случаев постпозиции), и в записи допроса Лизерия Колетти в Тайной канцелярии, и в письмах А.И. Остермана, немца по происхождению¹⁴, и в некоторых письмах и реляциях авторов рассматриваемых переводов. Правда, рядом с препозитивным расположением зависимых членов может встречаться и постпозитивная, но препозиция доминирует. Нормой во французском языке является постпозиция зависимых членов по отношению к глаголу, нейтральной для русского литературного языка нового типа также является постпозиция. Что же происходит в исследуемых переводах? Оба перевода Кантемира характеризуются преобладанием постпозитивного расположения зависимых членов (их примерно в 2,8 раза больше), но помешение зависимого члена в препозицию представляется нам в большинстве случаев произвольным, не связанным ни с семантикой этих существительных, ни с актуальным членением. Примеры: *она обещает ему житие сладостное* (2К, 19), *фигура эта стоит на глобусе* (1К, 387), но *фортuna на последок их к себе привлекает* (1К, 388). У Тредьяковского модель с постпозицией используется в подавляющем большинстве случаев, но в отдельных местах встречаются неожиданные скопления глагольных словосочетаний, где зависимое слово стоит в препозиции по отношению к глаголу, хотя в остальном в этих местах переводчик близок к оригиналу. Примеры: *я увидел ее печаль* (Г, 40), *и тогда добрался до этого острова* (Г, 11), но *оныя прекрасныя девицы в так великую меня радость привели, что таковой по другим местам нигде я не имел, которые еще прямого способа не знают как любить* (Г, 79).

У Вешнякова постпозиция зависимого имени преобладает в абсолютном большинстве случаев. Примеры: *имеет вышиню власть* (В, 2), *нарушит вольности нашей церкви* (В, 17), *благословил венцом* (В, 20), *не касается до церквей греческих* (В, 21). Здесь, видимо, можно уже говорить о норме, тем более, что Вешняков использует модель французского оригинала, а не копирует в каждом отдельном случае его порядок слов. Так, словосочетания *получили Иисусом Христом* (В, 19), *не касается до церквей греческих* (В, 21) и ряд других не имеют прямого соответствия в оригинале.

По-видимому, можно предположить, что отступление от постпозитивного расположения зависимых слов связано с актуализацией. Примеры: *мы не боимся во Франции, чтобы он когда-нибудь нарушил наши преимущества и уничтожил вольности нашей французской церкви, понеже мы учим и показываем, что он к сему и власти не имеет* (В, 12); *не распространяются и не касаются до церквей великороссийских, которые к сему никогда и никакого согласия своего не давали* (В, 12).

2. По схеме словорасположения к сочетанию глагола и существительного близки составные глагольныеказуемые — стремление помешать в препозиции зависимые существительные сочетались обычно со стремлением помешать в препозиции и инфинитив. Это тоже был своего рода шаблон в первой трети XVIII века¹⁵. Во французском инфинитив в постпозиции, в русском литературном языке нового типа — тоже. В переводах Кантемира и Тредьяковского значительно преобладают конструкции с постпозицией инфинитива, но встречаются и конструкции с препозицией, причем варьируются они с постпозитивными свободно, вне связи с семантикой глагола и актуальным членением. Примеры: *можем быть целый мир* (2К, 14), *силится совершенно дознать* (1К, 384), но *быть гораздо теплее может* (2К, 42); У Тредьяковского: *осталось Вам донести* (Т, 79), но *проходить ему надлежит* (Т, 80). Зависимое существительное у Тредьяковского обычно следует за личным глаголом и предшествует инфинитиву (примеры см. выше). У Вешнякова абсолютно преобладающими являются постпозиция инфинитива по отношению к личной форме глагола. Примеры: *может побуждать* (В, 11), *восхтели делать* (В, 17), *воздержались здесь спорить* (В, 23).

3. В сочетании глагола и наречия у Кантемира явно преобладает препозиция наречия по отношению к глаголу, хотя постпозиция наречия тоже возможна. Примеры: *изрядно случилось* (1К, 380), *не внезапно их убивает* (2К, 14), но *бежит и туды и сюды безрас- судно* (1К, 385). Вешняков же и Тредьяковский из возможных вариантов словорасположения выбирают тот, который соответствует порядку слов французского оригинала. Примеры: *продлить вечно* (В, 7), *сказать равно* (В, 20), *исполнить точно* (Т, 63), *учинил ка- рошно* (Т, 101). Здесь Кантемир оказывается ближе к будущей норме словорасположения литературного языка нового типа.

4. Препозитивное расположение качественных прилагательных, видимо можно считать нормой для самых разных литературных текстов первой трети XVIII века¹⁶. И Кантемир, и Тредьяковский, и Вешняков следуют в своих переводах этой норме, а не той модели, которую дают оригиналы, где согласно существующим во французском языке правилам словорасположения прилагательное находится в постпозиции по отношению к определяемому существительному. Случаи инверсии здесь очень немногочисленны, и либо объясняются специфической формой прилагательного (так, у Кантемира в "Таблицах Кевика философа" в постпозиции может оказаться краткое прилагательное, употребленное в функции определения: *мину учили и целому дренну имеет* (1К, 381), либо могут быть связаны с актуальным членением: *обещают ему жити ё сладостное и всякого беспокойства чуждое* (1К, 387).

5. Притяжательные местоимения во всех четырех текстах могут находиться и в препозиции, и в постпозиции. Примеры: *ваш труд, старания ваши, их мнения* (2К, 44). Местоимение *свой* – свободно находится и в постпозитивном, и в препозитивном положении в переводах Кантемира и Тредьяковского, что обычно для текстов того времени¹⁷, но всегда, кроме одного случая, в постпозиции у Вешнякова, он даже правит *свою силу на силу свою* (В, 25).

В абсолютном большинстве случаев существительные и местоимения, выполняющие функции подлежащего во всех наших переводах, предшествуют сказуемым, но могут и следовать за ними: *оттуду вселился я в сие место* (Т, 59), впоследствии у Карамзина препозиция станет еще более обязательной¹⁸.

Таким образом, описывая взаиморасположение элементов словосочетания в переводе Вешнякова, мы видим скорее нормативное, чем вариативное словорасположение. К норме в значительной степени тяготеют и другие три перевода. Важно отметить, что эта норма, отчетливее всего проявившаяся у Вешнякова, во многом близка к норме литературного языка нового типа.

Мы ограничились рассмотрением взаиморасположения двух компонентов словосочетания, главного и зависимого. Не затронуты вопросы, связанные с взаиморасположением нескольких зависимых членов, а также проблемы, связанные с дистантным распо-

ложением компонентов словосочетания, "встраиванием" одного словосочетания в другое (ср. *немалую чинит пользу злосчастным* (Т, 47), *никакого о себе известия*: (Т, 81)). Нам представляется, что вариативность во взаиморасположении зависимых членов и наличие "встроенных" конструкций и послужило главным основанием для упреков Тредьяковскому в непоследовательном словорасположении, исходящих и от современников и от позднейших исследователей¹⁹. Для Кантемира эти явления характерны, видимо, в меньшей степени, для Вешнякова – в еще меньшей. Мы не затрагиваем также проблем организации периода в текстах переводов. Для "Разговоров о множестве миров" Кантемира этот вопрос исследуется в работах Г. Хютль-Фольтер²⁰. Она показывает близость сложноподчиненных конструкций перевода конструкциям французского оригинала, отмечает тот факт, что "французский период", характерный для литературного языка нового типа, в значительной степени разработан уже Кантемиром. По-видимому, перевод Вешнякова в том, что касается сложных синтаксических конструкций, в целом близок переводу Кантемира.

Итак, мы видим, что переводы с французского оказывают нормализующее влияние на порядок слов в литературном языке уже на рубеже 20–30-х годов XVIII столетия. Порядок слов ранних переводов во многом предвосхищает порядок слов текстов, написанных на литературном языке нового типа, подобно тому как культурная ориентация авторов этих ранних переводов в чем-то предвосхитила культурную ориентацию создателей литературного языка нового типа. В общем хаосе вариантов начинает формироваться норма. При этом язык переводов оказывается проницаемым не для всех моделей словорасположения оригинала. Одни модели принимаются легко, несмотря на то, что в предшествующие десятилетия сложился противоречащий им шаблон. Так, зависимые существительные помещаются в постпозицию по отношению к глаголу, что соответствует норме оригинала. Другие модели отвергаются, так обстоит дело с качественными прилагательными, которые находятся в препозиции по отношению к существительному, хотя это противоречит норме оригинала. Видимо, препозитивное расположение прилагательных твердо осознается авторами переводов как норма родного языка. В ряде случаев выбор модели еще не сделан;

переводы неодинаковы по степени нормализации, взгляды их авторов на то, каким должен быть словопорядок в русском языке, могут потом изменяться, но все вместе эти тексты могут рассматриваться как первый шаг к созданию нормы порядка слов в литературном языке нового типа.

Примечания

¹ Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII–XIX веков. М., 1982. С. 77–82, 124–128; Ковтунова И.П. Порядок слов в русском литературном языке XVII–начале XIX века. М., 1969. С. 71–120.

² Ковтунова И.П. Указ. соч. С. 85.

³ Ковтунова И.П. Указ. соч. С. 118; Котков С.И., Попова З.Д. Очерки по синтаксису южновеликорусской письменности XVII века. М., 1986.

⁴ Виноградов В.В. Указ. соч. С. 168–180; Ковтунова И.П. Указ. соч. С. 130–161.

⁵ Гром Я.К. Карамзин в истории русского литературного языка // Гром Я.К. Филологические разыскания. СПб., 1899. Т. 2. С. 63–66; Булаховский Л.А. Исторический комментарий к литературному русскому языку. Харьков, 1932. С. 273–283; Виноградов В.В. Указ. соч. С. 197–200; Успенский Б.А. Из истории русского литературного языка XVIII–начале XIX века. М., 1985. С. 101–120.

⁶ Успенский Б.А. Указ. соч. С. 4–7.

⁷ Успенский Б.А., Шишкин А.Б. Тредьяковский и янсенисты. Париж, Символ, 1990. С. 85–130.

⁸ Сорокин Ю.С. Стилистическая теория и речевая практика молодого Тредьяковского // Венок Тредьяковскому. Волгоград, 1976; Сорокин Ю.С. У истоков литературного языка нового типа. Перенод "Разговоров о множестве миров" Фонтенеля // Литературный язык XVIII века. Проблемы стилистики. Ленинград, 1982; Успенский Б.А. Указ. соч.; Живов В.М. Смена норм в истории русского литературного языка XVIII века // Russian Linguistics, 1988, 12.

⁹ Сорокин Ю.С. Стилистическая теория... .

- 10 Далее в примерах перевод "Езды в остров любви" обозначается как ('1), перевод "Таблицы..." как (1К), перевод "Разговоров" как (2К), перевод "Предлога" как (В); примеры даются в упрощенной орфографии.
- 11 Библиографию о деятельности А.Л. Вешнякова см.: Успенский Б.А., Шишкин А.Б. Указ. соч. С. 83–85, 130.
- 12 *Boursier J. Histoire et analyse des livres de l'acisions de Deu*, т. 1, с., 1753. Р. 369–389.
- 13 Хютль-Фольтер Г. Языковая ситуация петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа // *Wiener Slavisches Jahrbuch*, 1987, 33.
- 14 Отрывок из этого протокола см. в книге Чистович Н. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868. С. 375–376; письма А.И. Остермана см. напр. в книге Майков Л.Н. Материалы к биографии князя А.И. Кантемира. СПб., 1903. С. 28, 50–59.
- 15 Ковтунова И.Н. Указ. соч. С. 96.
- 16 Ковтунова И.Н. Указ. соч.; Лаптева О.А. Расположение древнерусского одиночного прилагательного // Славянское языкознание. М., 1959.
- 17 Николаева Т.М. Средства различения посессивных значений, языковая эволюция и ее лингвистическая интерпретация // Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., 1986.
- 18 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 90.
- 19 Петров В. Письмо к Карамзину, 1775// Погодин М.П. И.М. Карамзин по его сочинениям, письмам, отзывам современников. М., 1866; Бонди С.М. Тредьяковский, Ломоносов, Сумаронов // Тредьяковский В.К. Стихотворения. Ленинград., 1935.
- 20 Хютль-Фольтер Г. Языковая ситуация...; Хютль-Фольтер Г. Перевод "Разговоров о множестве мирам" Кантемира// Сборник Матице српске за славистику. 1990, 38.

К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ ВЕРХНЕ- И НИЖНЕЛУЖИЦКОГО ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ

Интерес к проблеме создания сравнительной грамматики серболужицких литературных языков (верхне- и нижнелужицкого) возник в связи с явлением серболужицкого литературно-языкового параллелизма, которое уже давно является предметом дискуссии¹. При этом обсуждается как статус этих языков, степень их автономности, различия в характере нормы, кодификации, функциональной нагрузки, так и возможность их сближения и даже создания на их базе единой системы серболужицкого литературного языка². Сама по себе эта дискуссия тесно связана со спорами вокруг вопроса о единстве серболужицкого языка. Как считает большинство серболужицких исследователей, единый серболужицкий язык возник в результате преодоления изначальной разобщенности двух основных – верхне- и нижнелужицкого – языковых комплексов. Внутренняя колонизация и длительные языковые контакты носителей обоих наречий привели к языковой интеграции. Она могла стать основой формирования "общей базы развития", появлению общих тенденций в развитии отдельных языковых явлений (форм, категорий) в пределах всей серболужицкой языковой территории. В этих условиях существование верхне- и нижнелужицкого литературных языков, сформировавшихся в первые десятилетия XVIII в. на базе верхнелужицкого бауценского и нижнелужицкого коттбусского диалектов, для сторонников единого серболужицкого языка является следствием причин не столько внутриязыкового развития, сколько экстралингвистического характера, главным образом административного. Ими в основном определяются отличия в харак-

тере верхне- и нижнелужицкой норм, их кодификации, в степени функциональной нагрузки каждого из литературных языков. Для сторонников существования двух самостоятельных серболужицких литературных языков наличие двух литературных форм является лишним аргументом при обосновании отсутствия серболужицкого языкового единства. Сам факт их возникновения они связывают прежде всего с различиями, унаследованными от дренийшего периода, к которым затем присоединяются и те, что связаны с историческими особенностями развития этих языков на различных административных территориях. Отметим, что верхне- и нижнелужицкий литературные языки, связанные с польско-чешской традицией, имеют различную языковую ориентацию: верхнелужицкий — на чешский язык, нижнелужицкий — на польский.

Хотя серболужицкие языковеды и деятели культуры XIX в. считали нереальным создание общего для верхних и нижних серболужичан литературного языка, поскольку не существовало единого для них общественно-политического или общественно-духовного центра³, сближение верхне- и нижнелужицкого литературных языков признавалось возможным в некоторых областях, например, в орфографии, в лексике.

Характерно, что при обсуждении названных проблем, в том числе и проблемы сближения двух серболужицких литературных языков и создания единой системы серболужицкого литературного языка меньше всего обращались к конкретному сопоставительному анализу двух систем, которые имеют различия на всех уровнях, в том числе и морфологическом.

При сопоставлении двух грамматических систем или, как в данной статье, их соотносительных фрагментов — грамматических форм времени, необходим анализ не только самих литературных норм, но и их соотношения с соответствующими диалектными базами. Отмечая наличие глубоких различий на морфологическом уровне между двумя диалектными базами — верхне- и нижнелужицкой, обычно указывают на существование звательного падежа для одушевленных существительных мужского рода в верхнелужицких диалектах и его отсутствие в нижнелужицких. При этом судьба звательного падежа в серболужицких литературных языках не отличается от его употребления в диалектах. Соотношение же системы времен в литературных языках и диалектах дает более сложную картину.

С точки зрения состава форм времени на серболужицкой языковой территории наблюдается четыре типа систем времени: трехчленная, включающая формы настоящего, будущего, перфекта, свойственна собственно нижнелужицким диалектам, а также восточно-нижнелужицким – мужаковскому и слепянскому; четырехчленная, включающая формы настоящего, будущего, перфекта, итеративного претерита, ~~характеризующим~~ центрального пограничного и ряда переходных говоров; пятичленная, включающая формы настоящего, будущего, перфекта, претерита, плюсквампретерита (плюсквамперфекта), представлена только в нижнелужицком литературном языке; шестичленная, включающая формы настоящего, будущего, перфекта, претерита, итеративного претерита, плюсквамперфекта, отмечается в собственно верхнелужицких диалектах и присуща также верхнелужицкому литературному языку. Таким образом, если по признаку 'состав форм времени' верхнелужицкий литературный язык объединяется с собственно верхнелужицкими диалектами, то нижнелужицкий литературный язык указывает на особую систему времен, отличную от всех диалектных. Характерно, что в переходных говорах, где сочетаются черты верхне- и нижнелужицких диалектов, в составе форм времени отсутствуют простые прошедшие времена (претерит) (как в собственно нижнелужицких диалектах) и употребляются формы итеративного претерита (как в собственно верхнелужицких диалектах).

Таким образом, в современных серболужицких диалектах отражены различные стадии формирования трехчленной временной системы с одной формой прошедшего времени, подобной системе времен в восточнославянских языках. Системы времен в верхне- и нижнелужицком литературных языках по своему составу выглядят достаточно консервативно не только при сопоставлении с другими западнославянскими языками, но со всеми нижнелужицкими диалектами и значительной частью верхнелужицких. Формы претерита (аорист и имперфект – видовые комбинаторные варианты) зафиксированы главным образом в тех верхнелужицких диалектах, которые явились базой литературного языка, то есть в бауценском и католическом; в других же наблюдается различная степень замены форм претерита и плюсквамперфекта формами перфекта. В большей степени такая замена, по данным атласа,

происходит на севере верхнелужицкой диалектной территории (в 95% случаях), в меньшей — на юге.

Отметим, что существование такой особой формы времени как итеративный претерит со значением ‘обычное действие в прошлом’ признается не всеми исследователями. Некоторые (например, Г. Шустэр-Шевц)⁴ высказывают сомнения в правомерности включения этой формы в состав форм с собственно временными значениями, полагая, что признак типичности не является составной частью чисто временной характеристики действия. Тем более, что в аналогичных контекстах, где речь идет о типичных, повторяющихся действиях, могут употребляться и формы перфекта. Однако, более убедительной является точка зрения, согласно которой эта форма обладает чисто времененным значением: она всегда указывает на действие, которое имело место перед моментом речи; обычность действия является дополнительным значением данной формы⁵. В отличие от других форм времени, которые лишь в определенных контекстах могут обозначать повторяющееся действие, итеративный претерит всегда указывает на обычность действия. Совпадая по форме с формой конъюнктива, эта форма употребляется в случаях, когда речь идет о реальных действиях, относящихся к прошлому. При этом верхнелужицкую форму итеративного претерита во всех контекстах можно заменить перфектом, так как обе формы отрицают совпадение момента речи и времени действия. Ср., например, *Zwjetša pak by wōp ro swojim spodobanju předawał a pjenjezy do korečtow zwotnośował. Na příkład kóžda wiki by jeho w mesze widział, hać w Rudyšinje, hać w Kamjencu.. wśudźe!* (M.N., Łuž., 1906), где для обозначения регулярно повторяющихся действий употреблены формы итеративного претерита, и пример, записанный в одном из говоров, где речь идет о постоянно наблюдаемых в течение известного периода времени действиях, *A hdý je womłóćen było, da smy potom pjerjo dréli. A to bychmy potom tež dréli cyby dźeń, a do šule chodzili. Da smy chwatali domoj, zo smy potom zaso te pjerjo dréli, a wječor šće potom pisali* (Lichań, SII., 53/6). Действия, типичные для определенного промежутка времени, выражены здесь как формами итеративного претерита, так и формами перфекта.

Как в верхнелужицком литературном языке, так и в нижнелужицком не существует строго разделения на абсолютные и отно-

сительные времена. Каждая форма времени может быть употреблена и при выражении абсолютного, и относительного временного измерения действий в данной ситуации. Для временной характеристики действия релевантны такие признаки, как 'совпадение во времени момента речи и момента действия', 'совпадение момента речи и периода времени, о котором сообщается', 'совпадение периода времени, о котором сообщается, и момента действия'; для верхнелужицкого литературного языка (в отличие от нижнелужицкого) актуальным является признак 'повторяемости' действия.

Оба литературных языка не имеют различий в структуре общих для них форм времени. Отмечается лишь различное оформление окончаний. Ср., например, верхнелужицкие окончания в личных формах простого претерита — аориста и имперфекта: в 1 л. ед.ч. *-ch*, 1 л. мн.ч. *-chtu*, во 2 л. ед.ч. аориста — нулевое окончание, имперфекта — в.-луж. *-če*, н.-луж. *-čo*, во 2, 3 л. мн.ч. аориста и имперфекта — в.-луж. *-čće*, н.-луж. *-ččo*, в 1 л. дв.ч. аориста и имперфекта — в.-луж. *-chtoj*, н.-луж. *-chtej*, во 2, 3 л. дв. ч.—в.-луж. аориста и имперфекта *-čtaj* (*-čtej*), н.-луж. *-čtej*.

В обоих литературных языках формы аориста и имперфекта, образованные от основ с разным видовым значением, внутри отдельных глагольных классов не отличаются гласными элементами исхода основы, но в некоторых глагольных классах в формах простого претерита, образованных от глаголов совершенного и несовершенного вида, такие различия наблюдаются: например, в.-луж. *sehpjech*, *sehnjech*, *sehnješe*; н.-луж. *segnejch*, *segnešo*; в.-луж. *wiščahnich*, *wiščahnuy*; н.-луж. *hušegnich*, *hušegnu*.

Формы перфекта, образующиеся от глаголов обоих видов с помощью вспомогательного глагола — в.-луж. *byč*, н.-луж. *byč* — и формы на *-t*, характеризуют оба литературных языка. В 1 л. ед.личная форма вспомогательного глагола в верхнелужицком языке — *syt*, в нижнелужицком — *sot*, во 2 л. ед.ч. в обоих языках представлена форма *su*, в 3 л. ед.ч. в.-луж. *je*, н.-луж. *jo*, во множественном числе различия наблюдаются во 2 л. — в.-луж. *čče*, н.-луж. *ččo*; 1 л. мн. в.-луж. и н.-луж. *stuy*, 3 л. мн. в.-луж. и н.-луж. *su*, в 1 л. дв. в.-луж. *stōj*, н.-луж. *stej*. Кроме того, в формах на *-t* в нижнелужицком литературном языке (если они входят в парадигму дв.ч.) употребляется только окончание *-(t)ej*, в верхнелужиц-

ком не существуют факультативные варианты форм на **-t** с исходом на **-toj** и **-tej**: *smōj bratoj / bratej*, н.-луж. *smej bratej*. Окончание **-oj** является предпочтительным, если вспомогательный глагол не оканчивается на **-taj**, то есть употребляется в 1 л. или во 2 и 3 лл. имеет форму на **-tej**, например, *stuj bratej*. В остальных случаях формы на **-ej** встречаются редко, и школьные грамматики не приводят его в качестве окончания, соответствующего норме. Во мн.ч. в в.-луж. формах на **-t** находит выражение категория личности в оппозиции окончаний **-(l)i / -(t)e**: в 3 л. мн.ч. формы на **-li** являются обязательными, если референтом субъекта предложения является лицо мужского пола, в остальных случаях возможно как окончание **-li**, так и окончание **-(t)e**. Если речь идет о 1 л. мн.ч. или 2 л. мн.ч., то формы на **-t** всегда употребляются с окончанием **-i**. Встречающиеся иногда формы на **-(t)e** являются стилистически маркированными и воспринимаются как книжные. В нижнелужицком литературном языке формы на **-t** в составе форм перфекта имеют только окончание **-i**. В нижнелужицком литературном языке и диалектах (особенно в западных говорах) отмечается опущение в формах перфекта вспомогательного глагола; в верхнелужицких говорах вспомогательный глагол в форме 3 л. ед.ч. чаще опускается там, где форма перфекта является единственной формой прошедшего времени.

В обоих серболужицких литературных языках и в некоторых верхнелужицких говорах (сохраняющих в употреблении простые и сложные формы прошедшего времени) употребляются формы плюсквампертерита (плюсквампорфекта). Они образуются с помощью форм преторита (имперфекта) вспомогательного глагола – в.-луж. *być*, н.-луж. *byś* – и форм на **-t**, производных от основы перфекта полнозначного глагола (совершенного или несовершенного вида):ср. в.-луж. ед.ч. 1 л. *běch styšat*, 2, 3 лл. *bě(še) styšat*, мн.ч. 1 л. *běchty styšeli*, 2 л. *běsće styšeli*, 3 л. *běchu styšeli*, дв.ч. 1 л. *běchtoj styšetoj / styšelej*, 2, 3 лл. *běštoj/běštej styšatōj/styšatēj*. О различии в оформлении форм преторита (имперфекта) и форм на **-t** в верхнелужицком и нижнелужицком литературных языках см. выше. Отметим, что в верхнелужицком формы на **-(s)taj** вспомогательного глагола предпочтитаются в тех случаях, когда речь идет о лицах мужского пола, но противопоставление форм на **-(s)taj / -(s)tej** не является последовательным.

Определенные различия наблюдаются между верхне- и нижнелужицким литературными языками в парадигме настоящего времени. Для обоих языков характерно распределение глаголов по трем спряжениям в зависимости от исхода полной основы настоящего времени: *v.-луж.* *e*-спряжение, *n.-луж.* *o*-спряжение, *a*-спряжение и *i*-спряжение, внутри которых выделяются глагольные классы по признаку ‘тождественность / нетождественность основы перфекта и основы претерита и их соотношение с полной основой настоящего времени’.

В I л. од.ч. в обоих языках распространено два окончания *-i* и *-m*. В верхнелужицком языке *-i* свойственно глаголам *e*- и *i*-спряжений, в нижнелужицком – глаголам *o*-спряжения (окончание *-m* преобладает в восточных нижнелужицких диалектах и в ветшавском диалекте). Окончание *-m* в I л. ед.ч. распространено у глаголов *a*-спряжения в верхнелужицком и у глаголов *i*- и *a*-спряжений – в нижнелужицком. Окончание *-m* в верхне- и нижнелужицком постепенно распространяется на глаголы других спряжений. В нижнелужицком литературном языке оно свойственно большой группе глаголов, изменяющихся по *o*-спряжению. В нижнелужицких говорах, где у глаголов этого спряжения наиболее употребительно окончание *-i*, у целого ряда глаголов возможны оба варианта личных окончаний в I л. ед.ч. Во всех верхнелужицких говорах окончание *-i* было вытеснено окончанием *-m*. Второй вариант окончания у глаголов *e*-/*o*-спряжений (*-m*) появился под воздействием глаголов *a*-спряжения, и взаимодействие между спряжениями носит в данном случае морфологический характер. Но в нижнелужицком литературном языке и особенно в языке говоров наблюдается и явление обратного влияния глаголов *o*-спряжения на глаголы *a*- и *i*-спряжений. Характер этого явления сложнее. Речь идет о формах настоящего времени глаголов *i*- и *a*-спряжений, которые перед личным окончанием имеют суффикс *-jo* (ср. формы без суффикса и с суффиксом от глагола *kuriš* – *kuri*, *kurijo*). Эти формы, известные нижнелужицкому литературному языку и говорам, привлекали внимание исследователей, но их точки зрения на возникновение, функцию и характер этих форм были различными, а часто и противоречивыми. Так, например, опровергая мнение своих предшественников, Г. Фасске⁶ доказывает, что формы настоящего времени с расширенной основой так же, как и формы соответствующего глагола с нерасширенной основой имеют

значение совершенного вида (ср. тип *kirijot*, *patakajot*). Оба типа форм употребляются в одинаковых позициях и имеют тождественное временное значение. Появление форм с расширенной основой могло быть результатом стремления различать совпадающие по форме 3 л. ед.ч. и 2, 3 лл. ед.ч. аориста в некоторых спряжениях в период, когда простое прошедшее время было еще живой категорией (XVI–XVIII вв.). Формы настоящего времени указанного типа являются специфической нижнелужицкой инновацией, которая проявляется в нижнелужицком литературном языке, собственно нижнелужицких говорах и в северо-западной части переходной зоны. В 1 л. ед.ч. формы с расширенной основой у глаголов *a-* и *i-*спряжения имеют личное окончание, характерное для *a-*спряжения, то есть *-u*, или второй вариант окончания в этом спряжении *-(o)t*. Таким образом для глаголов *a-* и *i-*спряжений на *-as*, *-us*, *-is*, *-es* образуется новая парадигма по типу настоящего времени глаголов *a-*спряжения. Новообразования подобного типа в нижнелужицком литературном языке наблюдаются почти исключительно от приставочных глаголов совершенного вида. Бесприставочные глаголы совершенного вида составляют здесь небольшую группу (ср., например, *stupis*, *chysis*, *ričis*, *chopis* – *stupiš*, *chysiš*, *pusčijo*, *chopiju*).

Если можно считать доказанным функциональное тождество старых и новых форм настоящего времени, то появление новообразований в нижнелужицких формах настоящего времени следует считать проявлением чисто морфологического процесса выравнивания в настоящем времени форм глаголов, принадлежащих к различным спряжениям: речь идет о поглощении глаголов *a-*спряжения и *i-*спряжения глаголами *a-*спряжения. В нижнелужицком литературном языке XIX–XX вв. наблюдается параллельное употребление форм настоящего времени с расширенной и нерасширенной основами. В нижнелужицких говорах формы глаголов совершенного вида *i-* и *a-* спряжений имеют расширенную основу с суффиксом *-jo* (*dowazyjos*, *postroweji*).

Во 2 л. ед.ч. в обоих серболужицких языках представлено окончание *-s*, в 3 л. ед.ч. распространена основа настоящего времени с нулевым окончанием. В 1 л. мн.ч. употребляется окончание *-tu* (в некоторых верхнелужицких говорахходим *-tō* или *-ti*), во 2 л. мн.ч. в верхнелужицком представлено окончание *-ēs*, в нижнелужицком *-so*. В 3 л. мн.ч. в верхне- и нижнелужицком па-

блодаются различные окончания: в н.-луж. *o*-спряжении — *-i*, в в.-луж. *e*-спряжении — окончания *-a* или *-i* в зависимости от класса глагола:ср. *kirija*, устаревшее *kiriji*, *shikli*, в разговорном языке возможно *shikjeja*, образованное от полной основы настоящего времени, *pjesi*, в разговорном языке обычной является форма *pjesca*; *-bija* (разговорная — *bijeja* наряду с более предпочтительной *bija*). В н.-луж. *a*-спряжении — *-i*, в в.-луж. *a*-спряжение — наиболее употребительно *-a* (ср. *lětaja*), формы с окончанием *-i* встречаются редко и воспринимаются как устаревшие или книжные (ср. *lětaju*). В н.-луж. *i*-спряжении обычно употребляется окончание *-e*, но если формы наст. вр. образуются от расширенной основы, то 3 л. мн.ч. имеет окончание *-i* (по образцу *o*-спряжения), ср. *gronje*, *kipiju*, в в.-луж. *i*-спряжении — окончание *-a*, ср. *warja*.

В дв.ч. комментария заслуживает различие в формах 2, 3 лл. (см. выше).

В нижнелужицком литературном языке действует норма⁷, согласно которой аналитические формы будущего времени образуются только от глаголов несовершенного вида, у глаголов совершенного вида для обозначения будущего времени служат формы настоящего времени. В нижнолужицких диалектах формы аналитического будущего обычно образуются от глаголов обоих видов (ср. *budu pisaš/budu napisaš*): Как в н.-луж. литературном языке, так и в диалектах, будущее время от ряда глаголов движения и глагола *měš* употребляется с приставкой *ro-* или *z-*, ср. от глаголов *hyš*, *jěš*, *lěžć*, *měš* — *pojdu*, *pojědu*, *polézu*, *změju*. Та же норма характерна и для образования форм будущего времени в в.-луж. литературном языке и диалектах. В в.-луж. литературном языке ею встречающиеся формы аналитического будущего от глаголов совершенного вида опускаются как просторечные. Как отмечает грамматика, эти формы вполне корректны в современном литературном языке там, где при актуальном членении предложения глагол в качестве темы оказывается на первом месте в предложении⁸.

Мы остановились на некоторых основных формах, формирующих категорию времени в серболужицких литературных языках и диалектах. В дальнейшем должны быть рассмотрены и сопоставлены в.-луж. и н.-луж. формы императива, особенности в образо-

нании форм на *-t*, причастий и деепричастий, а также формы, выражающие другие грамматические категории, присущие серболужицкому глаголу.

Наибольшая близость серболужицких литературных языков обнаруживается в составе форм времени, хотя в верхне- и нижнелужицких диалектах и с этой точки зрения наблюдается различная картина. Теоретически конечным результатом сближения двух языков (с учетом усиливающейся в диалектах тенденции к формированию трехчленной системы времен) могла бы быть ситуация, представленная в собственно нижнелужицких диалектах (и некоторых восточнонижнелужицких). Различия в составе окончаний личных глагольных форм частично определяются наличием в одном из языков (нижнелужицком) грамматической (логико-грамматической) категории личности. Для обоих языков характерно постепенное распространение в 1 л. ед.ч. окончания *-t*, но есть у каждого из языков и специфические черты в глагольном словоизменении (ср. новообразования в н.-луж. формах настоящего времени, различия в личных окончаниях 3 л. мн.ч.).

Примечания

¹ См., например, *Lötzsch R. Einheit und Gliederung des Sorbischen*. Berlin, 1965; *Lötzsch R. Einige Bemerkungen zu D. Brozović Aufsatz "O specifičnim vidovima lužičkosrpske jezične problematike"* // *Lětopis Instituta za srbski ludospryt*. Budyšin, 1968, R.A, с. 15/1. S. 82–87; *Schuster-Sewc H. Sprache und ethnische Formation in der Entwicklung des Sorbischen* // *ZfSI*, Berlin, 1959, Bd. 4, II. 4. S. 577–595; *Brozović D. Die sorbischen Sprachen – Varianten einer Standardsprache oder spezifische selbständige Standardsprachen?* // *Lětopis...* Budyšin, 1987, R.A, с. 34. S. 45–57.

² Дуличенко А.Д. Феномен литературно-языкового параллизма у серболужичан в европейском лингвокультурном аспекте// *Lětopis...* Budyšin, 1990, R.A, с. 37. S. 19–34.

³ *Schuster-Sewc H. Wuicé spisowneje rěče pola Łužiskich Serbow* // *Sorabistiske přednoški* 1977. Budyšin, 1977. S. 35.

⁷ Schuster-Sewc H. Рецензия на II том Серболужицкого лингвистического атласа // ZfSl, 1977, XXII, II. 1. S. 162.

⁵ Fasske H. Ma serbščina iteratiwny preteritum jako wosebitby tempus? // Létopis..., R.A., 1981, c. 28/1.

⁶ Fasske H. K prezenu typa kupijom – namakajom // Létopis... R.A., 1965, c. 12/2. S. 154–172.

⁷ Janas P. Niedersorbische Grammatik. Bautzen, 1976. S. 328.

⁸ Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart. Verfasst von H. Fasske unter Mitarbeit von S. Michalk. Morphologie. Bautzen, 1981. S. 253.

Сокращения

M.N. Łuz., 1906 = Nawka Michal. Na běrnach. // Łuzica, 1906.
Priloga k 17. studijnemu listej serbščiny. Budysin, 1957. S. 1898.

T.N. Молошная.

О ВРЕМЕННЫХ ФОРМАХ ГЛАГОЛА В СОВРЕМЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Как известно, грамматическое глагольное время есть такая грамматическая категория, посредством форм которой определяется временное отношение между процессом, обозначенным данной формой глагола, и моментом данной речи, причем именно этот момент выступает в качестве нуля на линии времени. Категория времени конституируется в современных славянских языках категориальными формами настоящего, прошедшего и будущего. Такое положение в чистом виде наблюдается в современном русском. В других славянских языках так наз. временных форм больше. Например, в системе польского глагола, кроме наст. (*czytam*), прош. (*czytałem*) и буд. (*będe czytać/będę czytać*), сохраняется давнопрошедшее, или плюсквамперфект (*czytałem byt*). Эта форма употребляется в современном польском сравнительно редко, но не исчезает. Сходная ситуация в чешском: наст. (*něsū*), прош. (*něsl jsem*), буд. (*přinesu*) и плюсквамперфект (*byl jsem něsl*). Последняя форма в разговорном языке не употребляется уже давно, а в книжном сохранялась до последнего времени.

В сербскохорватском и македонском языках парадигма категории времени включает гораздо большее число членов. В сербскохорватском это наст. (*tresam*), прош. сов. = аорист (*tresaox*), прош. несов. = имперфект (*tresiјах*), прош. неопределенное = перфект (*сам тресао*), давнопрош. = плюсквамперфект (*бех тресао/био сам тресао*), буд. I (*ћу трести/трешћу*), буд. II = буд. предварит. (*будем тресао*). В македонском обычно говорят о следующих временных формах: наст. (*пишам*), прош. сов. = аорист (*пишав*), прош. несов. = имперфект (*пишев*), прош. неопределенное = перфект (*сум пишал*), предпрош. = плюсквамперфект (*бев*

пишсл), буд. (*ќе пишам*), буд. в прош. (*ќе пишев*). Кроме того, в македонском имеются также перфект II и плюсквамперфект II – формы, образованные вспомогательным глаголом *има* + причастие на *-н/-т*: *имам видено* (перфект II), *сум имал видено* (плюсквамперфект II). Формы с *имам* имеют в целом те же значения, что и перфект I и плюсквамперфект I. Они характерны для западной группы говоров. Исследователи отмечают, что в литературном языке их употребление прогрессирует¹.

В болгарском языке грамматисты насчитывают наибольшее количество форм времени – 9 членов временной парадигмы: наст. (*пиши*), прош. сов. = аорист (*писах*), прош.несов. = имперфект (*пишех*), прош. неопределен. = перфект (*писал съм*), даннoproш. = плюсквамперфект (*бях писал*), буд. (*ще пиша*), буд. в прош. (*щях да пиша*), буд. предварит. (*ще съм писал*), буд. предварит. в прош. (*щял да съм писал*).

Поскольку болгарская времененная система представляет самый сложный случай, остановимся на ней подробнее. В грамматической традиции принято различать абсолютные и относительные времена². Абсолютными называют те, которые соотносят действие или его результат (о последнем будет сказано ниже) с моментом речи – с ориентационным моментом M_1 . Это настоящее, будущее, аорист, перфект и будущее предварительное. Они выражают предшествование, следование и одновременность с моментом данной речи действия или его результата. В формировании значений глагольных временных форм также очень существен другой ориентационный момент (M_2) – это известный момент, о котором говорится, который имеется в виду и который конкретизирован либо данными самого времязчисления, либо другими явлениями, происходящими в этот момент. Например, имперфект обычно обозначает действие, одновременное с другим прошедшим действием, или его "современность" с каким-то моментом прошедшего времени, с каким-то "тогда", обозначенным либо другой глагольной формой, либо обстоятельством времени, либо подразумеваемым: *Веднъж, докато траеше дъждът, чичо Митуш и Лъю седяха на сундурмата пред дома* 'Однажды, когда продолжался дождь, дядя М. и Л. сидели на завалинке перед хлевом'; *И ето заспиваше вече, когато му се стори, че никой ходи на пръсти по двора* 'И вот он уже засыпал, когда ему показалось, что кто-то ходит на цыпочках по двору'. Из примеров можно видеть, что, выражая од-

новременность одного прошедшего действия другому прошедшему действию, имперфект ориентирован на прошедший ориентационный момент так же, как настоящее время ориентировано на момент речи. Поэтому В. Станков называл имперфект презенсом в прошедшем³.

Будущее в прошедшем обозначает действие, которое является будущим по отношению к какому-то прошедшему моменту (чаще всего — следует за некоторым другим прошедшим действием): *Г. стигна до нивата и се спря на она край, отстоја ще ђа почне да коси* 'Г. доехал до нивы и остановился на том конце ее, откуда должен был начать косить'; *Две черни горящи очи чакаха да доловат тайната, която ще ђе да разбули видо Гено* 'Два черных горящих глаза стремились разгадать тайну, которую собирался открыть дед Гено'.

Времена, которые соотносятся с M_2 , обычно называют относительными. Это имперфект, плюсквамперфект, будущее в прошедшем и будущее предварительное в прошедшем.

Очевидно, что противопоставление ряда глагольных форм, соотнесенных с M_1 , ряду глагольных форм, соотнесенных с M_2 , не есть противопоставление внутри грамматической категории времени. Это другая грамматическая категория, за которой закрепилось название "таксис"⁴. До того, как этот термин стал широко употребительным, А.И. Смирницкий предлагал называть данную категорию грамматической категорией временной относности⁵. Признание, кроме грамматической категории времени, также грамматической категории таксиса, делает неизбежным признание неочности термина "временные формы", ибо в этих формах выражаются обе назинные категории.

Привлечение категории таксиса, в дополнение к категории времени, позволяет исчерпывающе описать глагольные формыпольского и чешского языков. Форма плюсквамперфекта, в отличие от всех остальных — настоящего, прошедшего и будущего — ориентирована не на M_1 , а на M_2 . Например, пол. *Ale ona odwróciła się już do kufarka i bezmyślnie przekładała przedmioceki, które tam była i tegożyla* 'По она уже повернулась к сундучку ... и машинально перекладывала предметы, которые там (раньше) уложила'. Здесь как обычное прошедшее представлено то время, когда героиня повествования повернулась к сундучку ... и перекладывала

ла предметы; момент же, когда она уложила в него предметы, предшествовал этому времени, и что изображено с помощью не обычного прошедшего, но плюсквамперфекта. Хотя в плюсквамперфекте мы дважды находим значение прошедшего, все же прошедшее значение как принадлежащее категории времени, достаточно четко отличается от того значения прошедшего (предшествующего), которое и есть значение временных глагольных форм, соотнесенных с M_2 . Это значение предшествования характеризует одну из категориальных форм категории таксиса, вторая же категориальная форма этой грамматической категории выражает значение одновременности.

Временные (правильнее – временные и таксисные) формыпольского и чешского языков могут быть представлены следующей схемой.

Соотнесенность с M_1		Соотнесенность с M_2			
Одновременность	Следование	Предшествование	Одновременность	Следование	Предшествование
Паст.	Буд.	Прош.			Плюсквамперф.
пол. <i>czytam</i> чеш. <i>nesu</i>	<i>będę czytać</i> <i>prínesu</i>	<i>czytam</i> <i>nesl</i>			<i>czytałem być</i> <i>byl jsem nesl</i>

Для описания болгарских форм так наз. абсолютных и относительных времен данная схема недостаточна. Дело в том, что важной особенностью болгарской темпоральной системы является различие глагольного действия и результата глагольного действия. Внимание может быть сосредоточено не на действии, выражаемом глаголом, а на последствии, особенно состоянии, положении, которое наступило в результате имевшего место действия, т.е. такая глагольная форма указывает не на то, когда совершилось действие, а на то, когда налицаивает его результат, когда этот результат актуален. Иначе говоря, действие имеет значение только в связи со своим результатом. Например, *Валяло с* (перфект) значит, что улица в настоящий момент мокрая – в результате того, что прошел дождь; *Иван е заспал* означает, что Иван и сейчас спит, также как *Пристигнал съм днес* означает, что

я и сейчас нахожусь здесь. Результат действия в таком случае является основным значением глагольной формы, само действие восстанавливается по этому результату. Таким образом, можно говорить о результативных временах в болгарском языке. Они выражают отношение результата действия к ориентационным моментам M_1 и M_2 . Имеется настоящее результативное (одновременность результата действия с M_1 — моментом речи) — это перфект (*писал съм*), будущее результативное (следование результата действия за M_1) — это будущее предварительное (*ще съм писал*). Плюсквамперфект выражает одновременность результата действия с M_2 (*бих писал*), а будущее предварительное в прошедшем — следование результата действия за M_2 (*щях да съм писал*).

При этом отношения действия и его результата к ориентационному моменту не совпадают. Если результат действия наличествует в M_1 (перфект) или в M_2 (плюсквамперфект), то ясно, что само действие произошло до соответствующего момента, т.е. действие, обозначенное формой перфекта, совершилось до момента речи; одновременен моменту речи его результат. В традиционных грамматиках обычно пишут, что болгарский плюсквамперфект передает действие, предшествовавшее некоторому названному моменту и прошлом, либо другому действию в прошлом. Однако, как убедительно показали Г. Герджиков и Н. Напой⁶, основное значение этой формы — результат некоторого действия, одновременный другому действию в прошлом. Если же искать место действия (а не его результата), обозначенного формой плюсквамперфекта, относительно M_2 , то следует иметь в виду, что оно, естественно, совершилось до M_2 , но форма плюсквамперфекта акцентирует не это обстоятельство, а одновременность результата действия с другим действием в прошлом. Например, *Дъждят бе престанал. Гости наставаха да си идат* ‘В результате того, что дождь прекратился, гости собрались уходить домой’. Во всяком случае, если отвлечься от различных оттенков, возникающих в различных контекстах, это значение результата действия, актуального для другого действия в прошлом или другого момента в прошлом (M_2), можно принять общим грамматическим значением формы плюсквамперфекта.

Значение формы будущего предварительного также включает результативность — данная форма обозначает некоторое действие, результат которого актуален для будущего момента, т.е. следует

на настоящим моментом. Например, *Когато ние пак се срещем, вие ще сте все забравили дори и името ми* 'Когда мы снова увидимся, вы уже забудете даже мое имя' (= 'моё имя будет неизвестно вам').

Четвертой результативной формой болгарского глагола являются редко употребляющиеся будущее предварительное в прошлом. Его можно трактовать как будущее предварительное по отношению к M_2 . Это действие, результат которого ожидается в момент, будущий по отношению к прошедшему, или результат которого следует за некоторым действием, совершившимся в прошлом. Интерпретировать категориальное значение формы будущего в прошлом достаточно трудно из-за неизбежных дополнительных усложняющих оттенков, возникающих под влиянием контекста. Приведем лишь два примера, заимствованные из упомянутой статьи П. Нашова: *Ако и с бях се разболял и не бях загубил цяла година, тази пролет щях да съм завършил вече* 'Если бы я не заболел и не потерял целый год, этой весной я бы уже окончил' – 'имел бы как результат окончание'; *И да бяхме създавали, да поставим за своя новобългарски книжевен език азбуична система, както е предлагал тъкмо преди сто година В. Е. Аврилов, и не щяхме да се бъдеме отдавна простили с тълкова си неразборни от днешнин си правопис* 'Если бы мы сознавали это и установили для новоболгарского литературного языка систему правописания, которую предлагал сто лет тому назад В. Е. Аврилов, мы, наверное, давно уже (в результате) простились бы с путаницей современного правописания'.

Нерезультативные и результативные формы образуют пары: настоящее – перфект (*пиша – написал съм*), имперфект – плюск-имперфект (*пишех – бях писал*), будущее – будущее предварительное (*ще пиша – ще съм писал*), будущее в прош. – будущее предварит. в прош. (*щях да пиша – щял да съм писал*). Только аорист (*писах*), выражая нерезультативность (действие, предшествовавшее моменту речи), не имеет результативного соответствия. Эта регулярность выражения результативного значения (в общем абстрактно-грамматическом смысле) позволяет говорить о наличии в болгарском языке еще одной особой грамматической глагольной категории – результативности, не имеющей ничего общего с категорией вида. Очевидно, грамматическое значение этой категории выражается с помощью вспомогательного глагола *съм* +

причастие на *-л* основного глагола. Соответственно, можно тогда сказать, что грамматическая категория таксиса (соотнесенность с M_2) выражается "морфемой имперфекта" *-x* в составе вспомогательного или основного глагола (ср. имперфект основного глагола *ходех* и имперфектную форму вспомогательных глаголов *щях* и *бях* в других формах, выражающих соотнесенность с прошедшим моментом, *бях ходил*, *щях да холя*, *щях да съм ходил*). Заметим, что в категории времени отчетливое выражение имеет значение следования — с помощью морфемы *-щ*. Одновременность сигнализируется отсутствием этой морфемы, прецессование передаеться единственно аористом, и у него нет особого оформления.

Регулярность материальной формы выражения значения очень существенна. Единообразие внешнего строения результативных форм настоятельно требует, чтобы все эти формы рассматривались как единая система. То же относится к формам, выражающим соотнесенность действия или его результата с M_2 . "Ведь — как писал А.И. Смирницкий, — внешнее тождество или подобие, как правило, является в языке выражением внутреннего тождества или подобия: без этой закономерности язык не мог бы функционировать как средство общения, так как тогда можно было бы постоянно полагать, что то же самое звучание при всяком новом воспроизведении имеет новое, иное и непредвиденное значение"7.

Итак, обсуждавшееся выше значение соотнесенности действия или его результата не с моментом речи, но с другим моментом в прошлом, о котором говорится или который имеется в виду и который конкретизирован либо данными самого времязначения, либо другими явлениями, происходящими в этот момент (M_2), и регулярное выражение этого значения с помощью "морфемы имперфекта" *-x* с очевидностью показывает, что таксис представляет собой особую по отношению к категории времени грамматическую категорию. Она образуется двумя противопоставляющимися категориальными формами: категориальной формой отнесенности к моменту речи (M_1) и категориальной формой отнесенности к некоторому другому моменту в прошлом (M_2). Первую составляют настоящее, будущее, аорист, перфект и будущее предварительное; вторую — имперфект, плюсквамперфект, будущее в прошедшем и будущее предварительное в прошедшем.

Третья грамматическая категория, представленная и так наз. временными формах болгарского глагола, — категория результатив-

ности. Как уже говорилось, она образуется противопоставлением категориальной формы отнесенности результата действия к M_1 или M_2 и категориальной формой отнесенности самого действия к M_1 или M_2 . Первую составляют перфект, будущее предварительное, плюсквамперфект и будущее предварительное в прошедшем; вторую — настоящее, будущее, аорист, имперфект и будущее в прошлом.

Таким образом, в системе болгарского глагола различаются оппозиции в плане содержания по grammatischen категориям времени, таксиса и результативности. Настоящее противопоставляется будущему и аористу по линии категории времени (настоящее — одновременность с M_1 , будущее — следование за M_1 , аорист — предшествование M_1). Настоящее противопоставляется имперфекту по линии категории таксиса (настоящее выражает одновременность с M_1 , а имперфект — с M_2), то же относится к противопоставлению будущего и будущего в прошедшем (будущее — следование за M_1 , будущее в прошедшем — следование за M_2), перфекта и плюсквамперфекта (перфект — одновременность результата действия с M_1 , плюсквамперфект — одновременность результата действия с M_2), будущего предварительного и будущего предварительного в прошлом (будущее предварительное — следование результата действия за M_1 , будущее предварительное в прошлом — следование результата действия за M_2). Настоящее противопоставляется перфекту по линии результативности (настоящее — действие, одновременное с M_1 , перфект — результат действия, одновременный с M_1), то же относится к противопоставлению будущего и будущего предварительного (будущее — действие, следующее за M_1 , будущее предварительное — результат действия, следующий за M_1), имперфекта и плюсквамперфекта (имперфект — одновременность действия с M_2 , плюсквамперфект — одновременность результата действия с M_2), будущего в прошедшем и будущего предварительного в прошлом (будущее в прошлом — следование действия за M_2 , будущее предварительное в прошлом — следование результата действия за M_2). Как видим, каждая глагольная форма, кроме аориста, входит в три разные оппозиции. Аорист, выражая лишь отношение к M_1 , не имеет коррелята ни по отношению к M_2 , ни по отношению к значению результативности.

Перечисленные оппозиции в системе так наз. временных форм болгарского глагола можно изобразить с помощью следующей схемы.

Соотнесенность с M_1

Соотнесенность с M_2

	Соотнесенность с M_1		Соотнесенность с M_2	
	Одновременность	Следование	Предшествование	Одновременность
Нерезультируемость	Наст. <i>ходя</i>	Буд. <i>же ходя</i>	Аорист <i>ходит</i>	Имперфект <i>ходел</i>
Результируемость	Перфект	Буд. предварит.	Глюоквам-перфект	Буд. предварит. в прош.
		<i>съж ходил</i>	<i>же съж ходил</i>	<i>жаях daß съж ходил</i>

Г. Герджиков и Н. Пашов предлагают сходные, но объемные схематические изображения⁸.

Конечно, следует помнить, что все высказанные соображения касаются лишь чисто категориальных грамматических значений и не отражают многообразия различных употреблений так наз. временных глагольных форм в славянских языках. Однако, даже если считать приведенные схемы огрубленными, они не лишены объяснительной силы, ибо репрезентируют общеграмматические противопоставления, позволяющие непротиворечиво описать соответствующие глагольные формы.

В болгаристике известны попытки представить временные формы глагола как выражющие не три, а две грамматические категории – категорию времени и категорию таксиса, без учета категории результативности⁹. Надо сказать, что такие описания гораздо менее удачны, так как они представляют собой громоздкие построения, не объясняющие все соотношения глагольных форм.

По-видимому категория результативности должна привлекаться также для описания глагольных форм в сербскохорватском и македонском языках. Эти языки отличаются от болгарского меньшим числом форм будущего – в болгарском их четыре (см. таблицу), а в сербскохорватском и македонском по две. Однако без категории результативности, с учетом только ориентационных моментов M_1 и M_2 и временных противопоставлений одновременность/предшествование/следование, трудно объяснить соотношение perfecta с остальными формами: он окажется не отличимым от аориста (действие, предшествующее M_1).

Выше речь шла исключительно о личных формах глагола в славянских языках. С неличными формами ситуация иная. Как известно, в русском языке категория таксиса имеет грамматическое выражение единственно в деепричастии. Деепричастие настоящего времени обозначает дополнительное действие, одновременное с основным действием (*Поднимаясь по лестнице, мы громко разговаривали*), деепричастие прошедшего времени – дополнительное действие, предшествовавшее основному (*Только решив этот вопрос, мы перейдем к следующему*). Иначе говоря, формы деепричастия соотносят действие не с моментом речи (M_1), а с другим моментом (M_2) – моментом основного действия в предложении. В этом смысле термины "деепричастие настоящего време-

ни" и "деепричастие прошедшего времени" неточны – деепричастие не выражает временных значений, оно передает лишь таксисные отношения.

Подобное положение существует и в чешском языке: *Jdouc* (деепричастие наст. вр.) *se mpoj, vypriavuje ti o svém životě* 'Иди со мной, он рассказывает мне о своей жизни'. Здесь выражается одновременность дополнительного и основного действий. Ср. *Vykonač* (деепричастие прош. вр.) *svoi práci, odešel domů* 'Выполнив свою работу, он ушел домой'. Деепричастие обозначает дополнительное действие, которое предшествует основному.

То же наблюдается в польском языке. Деепричастие наст. вр. несов. в. (*czytając*) передает одновременность, а деепричастие прош. вр. сов. в. (*przeczytawszy*) – предшествование. Например, *Stado gołębi ... spada, klaszczą skrydłami* 'Стая голубей падает, хлопая крыльями' и *Poszli ..., wywieźdżając się, wcześniej czy i ch transport czasem nie ruszy* 'Они пошли разузнав сначала, не тронется ли их "шелон".

Точно также в сербскохорватском языке деепричастие наст. вр. на *-ći* выражает одновременность с основным действием в предложении (*Идући ... мислио сам* 'Идя, я думал'), а деепричастие прош. вр. на *-vши* – предшествование основному действию (*Расширившись крыла ... остао непомично* 'Расправив крылья, остался неподвижен').

В современных болгарском и македонском языках деепричастие не имеет форм времени и не выражает таксисных отношений. Эта неизменяемая глагольная форма всегда обозначает действие, одновременное действию основного глагола в предложении: бол. *Треперейки сладко аз ще да ви слишам* 'Сладко трепеща, я буду вас слушать'; мак. *Трчајчи, мавтажки са рака* 'Бежал, махая рукой'.

Следовательно, если в русском, польском, чешском и сербскохорватском языках деепричастие имеет значения и формы грамматической категории таксиса, то болгарскому и македонскому деепричастию данная категория не присуща. Оказывается, что таксис, играя очень большую роль в парадигме личных глагольных форм болгарского и македонского языков, в неличных формах не реализуется. В русском языке, наоборот, категория таксиса находит свое выражение исключительно в неличной фор-

ме деепричастия. В других славянских языках таксис распределен по глаголу более равномерно.

Примечания

¹ Усикова Р.Н. Македонский язык. Скопје, 1985. С. 101.

² Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. Морфология. София, 1983. С. 289; Кутаров Ив. Очерк по функционально-семантична грамматика на български език. Пловдив, 1985. С. 85–103; Бунина Н.К. История глагольных времен в болгарском языке. Времена индикатива, М., 1970.

³ Станков В. Имперфектът в съвременния български книжовен език – презенс в миналото // Български език, 1965, кн. 3. С. 193–207.

⁴ Одним из первых к этому термину прибег Р. Якобсон. См.: Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 95–113. См. также: Бондарко А.В. Тэмпоральность // Теория функциональной грамматики: Тэмпоральность. Модальность. Л., 1990. С. 13–18.

⁵ Смирницкий А.И. Морфология английского языка. М., 1959. С. 291 и далее.

⁶ Герджиков Г. Българските глаголни времена като система // Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976. С. 224–229; Пашов П. Българските глаголни времена // Там же. С. 186–209.

⁷ Смирницкий А.И. Указ. соч. С. 299.

⁸ Герджиков Г. Указ. соч.; Пашов П. Указ. соч.

⁹ См., например: Пенчев Й. Към въпроса за времената в съвременния български език // Български език, 1967, кн. 2. С. 131–143.

Н.А. Козинцева

СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИИ ПЕРЕСКАЗЫВАТЕЛЬНОСТИ/ НЕПЕРЕСКАЗЫВАТЕЛЬНОСТИ (ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННОСТИ)

Значение пересказывательности в болгарской грамматике известно по крайней мере с 1852 года, когда вышла в свет грамматика болгарского языка братьев Цапковых¹. В американской лингвистике значение "эвиденциальности" впервые было описано в работах "ранних американцев". Оно не привлекало к себе значительного внимания до тех пор, пока выражение этого значения не стали обнаруживать во многих других языках мира — иранских, финно-угорских, тюркских, кавказских. Оказывается, что нет общего представления о семантических границах эвиденциальности. Только в немногих языках это самостоятельная грамматическая категория, чаще данное значение передается как элемент модальности либо пересекается с аспектуально- temporальной семантикой.

Под засвидетельствованностью здесь понимается область рамочных значений, представляющих собой указание на источник сведений, передаваемых говорящим: "Говорящий сообщает о событии, основываясь на сообщении какого-либо другого лица, на снах (сведения, полученные путем откровения), на догадках (предположительные сведения) или на собственном прошлом опыте (сведения, извлекаемые из памяти)"². Засвидетельствованность/незасвидетельствованность представлена не во всех языках, но и в тех языках, в которых она есть, она маркируется далеко не во всех случаях.

В зависимости от отношения говорящего к передаваемой информации выделяются три типа предложений:

1) предложения, содержание которых принимается на веру как само собой разумеющееся; к этому типу обычно относят общие истины;

2) предложения, содержание которых может быть оспорено слушающим; такая информация требует обоснования своей истинности и может быть представлена как так или иначе засвидетельствованная или незасвидетельствованная говорящим;

3) предложения, содержание которых является с точки зрения говорящего, гипотезой, и тем самым не требует подтверждения своей истинности³.

Категория засвидетельствованности (пересказывательность/непересказывательность) релевантна для высказываний второго типа. Это, как правило, высказывания, принадлежащие диалогической речи и ее отражению в письменном тексте. Нarrативный текст (историческое повествование) обычно предполагает наличие "всеведущего автора", утверждения которого не подвергаются сомнению.

В разных языках выделяются: 1) специальные средства выражения засвидетельствованности: а) морфологические, маркирующие засвидетельствованность как отдельную морфологическую категорию глагола⁴; б) лексические (частицы, наречия); синтаксические (союзы); 2) неспецифические средства, при которых засвидетельствованность выражается как субкатегория видо-временных и модальных систем⁵.

Известны различные типы засвидетельствованности, чаще всего – прямая и косвенная. Из тридцати восьми языков, проанализированных в работе Т. Уиллетта⁶, только в одном случае в языке специальную маркируется прямая засвидетельствованность и не маркируется косвенная. Можно согласиться с высказанным в указанной работе предложением, что "по умолчанию" утвердительное высказывание (ассерция) интерпретируется как основанное на прямом свидетельстве.

Рассматриваемые значения не являются обязательно выражаемыми для любого высказывания – говорящий может строить свое высказывание безотносительно к источнику своих знаний. Потребность более точно выразить отношение говорящего к источнику информации возникает в определенных ситуативных условиях:

- 1) при желании снять с себя ответственность за утверждение;
- 2) при сомнении в сообщаемой им информации (в конструкции с модусным глаголом, а также при цитировании с оттенком сомнения, недоверия);
- 3) в случае поиска причины наблюдаемой ситуации – говорящий восстанавливает ситуацию, о которой делается сообщение, по некоторым наличным признакам;
- 4) в фольклорном повествовании, маркированном как передаваемом из уст в уста; вместе с тем фольклорный текст может осмысляться и как повествование, не связанное с позицией рассказчика.

Таким образом выделяется, как минимум, четыре семантических подтипа (варианта) пересказывательного значения: косвенное свидетельство, дубитативность, инференциальность, изустная передача.

К одной из общих черт грамматической структуры балканских языков (албанского, болгарского, македонского) относится выражение засвидетельствованности с помощью форм перфекта или формами специальных наклонений, морфологически связанными с ним. Семантическая связь между перфектным значением (результативом) и засвидетельствованностью основана на том, что в обоих случаях действие в прошлом не дано в непосредственном представлении⁷. Общность развития балкано-славянских и турецкого языков заключается в том, что их формы прошедшего определенного развивают значение маркированной прямой засвидетельствованности. Вместе с этим (или благодаря этому) прошедшее неопределенное (первоначально перфект) в этих языках развилось в немаркированное прошедшее с контекстуальным вариантом значения косвенной засвидетельствованности⁸.

Для обоснования существующих гипотез о происхождении форм засвидетельствованности, а также их типологической характеристики представляется целесообразным сопоставление балканского материала с данными других языков. Материал древнеармянского языка в сопоставлении с современным армянским, в котором косвенная засвидетельствованность является одним из значений перфекта, позволяет выявить определенные предпосылки, с которыми может быть связано развитие данной категории.

В современном армянском языке в систему форм прошедшего времени входят синтетическая форма аориста, аналитические формы имперфекта, перфекта и плюсквамперфекта. Схематично их функции описываются следующим образом: аорист употребляется в повествовании о последовательных событиях; описание фона производится обычно с помощью имперфекта; для передачи изолированных действий в прошлом обычно используются перфект и плюсквамперфект с традиционным для новых индоевропейских языков набором частных значений: действие, результат которого актуален в момент речи; общефактическое действие (происходившее в неопределенный период времени в прошлом); неоднократное действие (ограниченно-кратное или неограниченно-кратное); иплютивное действие (длительное действие, простирающееся вплоть до момента речи). В сложном предложении перфект и плюсквамперфект имеют также таксисное значение относительного предшествования. Вместе с тем в диалогической речи противопоставление перфекта и аориста связано с выражением засвидетельствованности. Если говорящий является очевидцем прошлых действий, о которых он говорит, то он описывает эти действия с помощью аориста (прямая засвидетельствованность). Если же говорящий передает события, очевидцем которых он не является, то используется перфект (косвенная засвидетельствованность). Это правило свойственно современной литературной нормативной речи. Рассмотрим противопоставление аориста и перфекта на предшествующем этапе развития – в древнеармянском языке.

Материал, на котором основана настоящая статья, извлечен из текста классической древнеармянской литературы 5-го века исторического жанра (*Егише*. О Вардане и войне армянской). Историческое повествование выдержано в основном в формах аориста и имперфекта. Перфект и плюсквамперфект употребляются значительно реже, обычно для передачи результативного состояния или предшествования (ср. следующие цифры: на 27 страницах текста выявлено 116 форм аориста, 109 форм имперфекта и всего 15 форм аналитического перфекта).

Перфект древнеармянского языка отражает второй "раунд" развития индоевропейского перфекта. В разных языках этот "раунд" представлен аналитическими формами, развивающимися из предикативных сочетаний активного причастия с глаголами бытия

или пассивного причастия с глаголами бытия или обладания⁹. В древнеармянском языке причастие прошедшего времени не дифференцировано по залогу и употребляется обычно с бытийным вспомогательным глаголом, но возможны также сочетания с глаголом обладания. Причастие прошедшего времени обозначает состояние как результат предшествующего действия. Оно широко употребляется самостоятельно в роли вторичного зависимого предиката, а также определения. Аналитическая форма перфекта в древнеармянском языке выражает следующие частные значения:

1) перфектное значение действия, результат которого актуален для настоящего:

- (1) *Ark'ay yk-eas ař k'ez; yortē g̣e-eal*
Царь посыпать—AOR к тебе кто:ABL получить—PAST.PART
ē k'o z̄ayd amenaup ratowakan.
быть:PRS:3SG ты:GEN ACC-эти все почетные
patiwa-d...? (Егише 137)
повязки-D2

‘Царь послал к тебе /узнать/, от кого ты получил все эти почетные повязки?’

2) состояние в момент речи (обычно речь идет об эмоциональном или психическом состоянии):

- (2) *Bayc yortē du-d z̄arhur-eal es,*
Но что:ABL ты-D2 испугаться—PAST.PART быть:PRS:2SG
diwrahawan. ler, ew uulvatalki ašakert-iš
сговорчив будь и скоро учиться-PRES:2SG
ç̄smartut'can-n. (Егише 37)
истина: DAT-DEF

‘Но почему ты испугался? Будь сговорчив и без промедления будешь учиться истине’;

- (3) *Ew amenaup mardik moloreal en,*
И все люди заблуждаются—PAST.PART быть:3PL:PRS
or as-en -- et'e "Z-mah. Astwaç
что говорить—PRS:3PL -- что ACC-смерть Бог
arat ew č̄ar ew bari i pman̄ lin-in (Егише 25)
делать:AOR, и зло и добро от он:ABL быть—PRS:3PL
‘И все люди пребывают в заблуждении, когда говорят, что
“смерть сотворил Бог, и зло, и доброе от него”;

3) Действие, совершившееся в прошлом неоднократно:

(4) *I bagum paterazmuns m̄-eal ē*

В многие войны входить-PAST.PART быть:PRS:3SG

im, ew jer and is (Егише 100)

я:GEN и вы:GEN со мною

‘Участвовал я во многих войнах и вы со мною’;

4) Нерформативное действие:

(5) *Ayl ayzm im ē k'ez erdum-n.*

Но сейчас я:GEN быть:3SG ты:DAT клятва-DEF

tu-eal jaπtah disn-. (Егише 158)

дать-PAST.PART бессмертными богами

‘Но сейчас я заклинаю тебя бессмертными богами...’

Формы аориста и перфекта в древнеармянском не противопоставлены по признаку выражения косвенной засвидетельствованности. Как для выражения прямой, так и косвенной засвидетельствованности, маркируемой специальными частицами, обычно употребляется аорист (ведущая форма повествования).

Вместе с тем, перфект в древнеармянском языке выступает в ряде случаев, характерных для косвенной засвидетельствованности. К ним можно отнести:

1) Ситуация восстанавливаемая по зримым последствиям:

(6) *Z-inč ē ays meç sk'ančelik's? Astuaç-k' ter*

ACC-что быть:3SG это величес чудо? Бог-PL наши

uremp ek-eal iʃreal

значит прийти-PAST.PART спуститься-PAST.PART

en. i bants, ew poça r'ařavotut'išpp

быть:PRS:3PL в тюрьму, и их слава

luč-eal borbok'-i (Егише 145)

сверкать:PAST.PART гореть-PRS:3SG

‘Что это за великое чудо? Значит, наши боги явились и спустились в эту тюрьму, и то горит и своркает их слава?’ (предшествующий контекст: царь кушанов посадил христианских священников в темницу, из которой никто живым не выходил. Они с великим терпением несли заключение и непрестанно с псалмами пребывали в ежедневном служении. Удивленный их здоровью главный маг среди ночи подошел к окошку тюрьмы и увидел, что тело каждого из

узников горело и светилось. Он был поражен сильным страхом и говорил про себя...).

2) Ситуация, о которой говорящий упоминает с чужих слов:

(7) *Mi ok' amen evin liw-i cē z-ayd i*
Не кто-либо совсем слышать:FUT:SBJV:3SG ACC-это от
k'ēn, . manawand vasn tesleann meçi, or
тебя особенно о видении великом, которое
erew-eal ē pta...(Егише 158)
показаться-PAST.PART быть:PRS:3SG ему
'Пусть никто не услышит об этом от тебя, в особенности о великом видении, которое представилось ему...'

Приведенные случаи позволяют сделать предварительный вывод о том, что оппозиция перфект/аорист в древнеармянском языке уже по-видимому могла использоваться для выражения отношения говорящего к источнику информации.

Разнитие значения косвенной засвидетельствованности у формы армянского перфекта может быть связано также с такой его особенностью, которая проявилась также в истории балканских и славянских языков, а именно, с опущением вспомогательного бытийного глагола-энклитики в форме третьего лица в повествовании. В произведениях эпической прозы, как отмечалось рядом исследователей¹⁰, допускалось употребление ряда причастий прошедшего времени, передающих последовательные действия, например:

(8) *Yets₁ kac-eal₂ yuxteñ k'nistonēut'can ..i*
Отступив_{1,2}-PAST.PART от обета христианского и
awe-r-eal z-bazum telis Nayos
разорив-PAST.PART ACC-многие места Армянского
ašxarin... ař-eal awe-r-eal ..i
мира взять-PAST.PART разорить-PAST.PART и
hrjig arak-eal, ew z-ameneçin jer
поджог произвести-PAST.PART и ACC-все ваши
z-əntanis p'axic-eal merž-eal
ACC-семьи божать:CAUS-PAST.PART покинуть-PAST.PART
yiwruk'ančiwr bnakut'enč. Jeñ ark-eal
свою проживание:ABL. Руку наложить-PAST.PART
ew i surb ekekeçis-n, tar-eal ew
и на снятые церкви-DEF уносить-PAST.PART и

<i>z-surb</i>	<i>spas</i>	<i>ekcētēswoy-p</i>	<i>setanoy,</i>	<i>geri</i>
ACC-святой	сосуд	церковь-GEN-DEF	престол-GEN	план
<i>var-eal</i>		<i>z-əntanis k'ahamayic,</i>		<i>ew</i>
увести:PAST.PART		ACC-семьи священники-GEN:П.	и	
<i>z-nosin kap-eal</i>		<i>ew ed-eal</i>		<i>i</i>
ACC-их связать-PAST.PART		заключить-PAST.PART	в	
<i>banfi</i> (Бгише 79)				
тюрьма-DAT				

‘Отступив от обета христианского и разорив многие места... взял, разорил и произвел поджоги, и все наши семьи заставил бежать, покинув святые места своего пребывания. Наложил руку и на святые церкви, унесся и святые сосуды церковного престола, увел в плен и семьи священников, а их (самых повелов) связать и заключить в тюрьму’.

В специальной литературе обсуждается вопрос о том, следует ли данное употребление рассматривать как элиминацию вспомогательного глагола при форме перфекта, либо трактовать эти случаи как особое употребление аппозитивного причастия прошедшего времени в нарративной функции. Аргументом в пользу последнего решения выступает то, что сложное прошедшее в древнеармянском не употреблялось для передачи последовательных действий¹¹. Как бы ни расценивать формы в примере (8), очевидно, что подобные употребления являются предпосылкой развития значения косвенной засвидетельствованности перфекта современного армянского языка.

Примечания

¹ См.: Молошка Т.Н. Категория пересказывательности болгарского глагола //Советское славяноведение. 1989, № 2. С.63–73.

² Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол //Причины типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 101.

³ Givón T. Evidentiality and Epistemic Space // Studies in Language. 1982. Vol. 6, № 1. P. 23–50.

⁴ См. обзор: *Willett Th.* A cross-linguistic survey of the grammaticalization of evidentiality // *Studies in language*. 1988. Vol. 12, № 1. P. 51–98.

⁵ См.: *Молошная Т.И.* Категория пересказывательности...; *Friedman V.A.* Status in the Lac verbal system and its typological significance // *Folia Slavica*. 1984. Vol. 7, Nos 1 and 2. P. 135–149; *Friedman V.A.* The category of evidentiality in the Balkans and the Caucasus // American contributions to the Tenth International congress of slavists. Sofia, 15–21 september 1988. A.Schenker, E.Stankiewicz, D.Worth (eds.). Columbus: *Slavia Publ.*, 1988. P. 121–139.

⁶ *Willett Th.* A cross-linguistic survey...

⁷ *Comrie B.* Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge Univ. 1976.

⁸ *Friedman V.A.* The category of evidentiality in the Balkans and the Caucasus...

⁹ *Маслов Ю.С.* Результатив, перфект и глагольный вид // Гипнология результативных конструкций. Л., 1983. С. 47.

¹⁰ *Meillet A.* Recherches sur la syntaxe comparée de l'Arménien. IV. Emplois des formes personnelles des verbes // *Mémoires de la Société Linguistique de Paris*. 1911. T. XVI; *Lionnet S.* Le parfait en arménien classique. Paris, 1933; *Абрамян А.А.* Причастия армянского языка и их морфологическое значение. Ереван, 1953. (На арм. яз.); *Jensen H.* Altarmenische Grammatik. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1959.

¹¹ *Jungmann P.* Partizipien und analytische Verbalformen im Klassisch-Armenischen und im (Neu)-Westarmenischen // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*. 1975. Bd. 89, II. I.

Источники

Егише — *Егише*. О Вардане и армянской войне. Ереван, 1957
(На древнеармянском языке).

Сокращения

2	– второе лицо
3	– третье лицо
ABL	– аблатив
ACC	– аккузатив
AOR	– аорист
D1	– притяжательный артикль первого лица
D2	– притяжательный артикль второго лица
DAT	– датив
DEF	– определенный артикль
FUT	– фуруум
GEN	– генитив
PAST.PART	– причастие прошедшего времени
PRS	– презенс
SBJV	– субъюнктив
SG	– единственное число

Ю.Е. Стамковская

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ СУФФИКСОВ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЧЕШСКОМ И СЕРБСКОХОРВАТСКОМ ЯЗЫКАХ

В предлагаемой статье рассматриваются различные стороны взаимодействия иноязычных суффиксов имен существительных греко-латинского происхождения с принимающей языковой системой — их фонетическое, морфологическое, структурное, семантическое, стилистическое освоение, а также словообразовательный потенциал слов, имеющих в своем составе данные иноязычные морфемы. При этом нас интересует не только как функционируют данные суффиксы¹, но и почему близкородственные языки, используя общие механизмы (одинаковые для славянских языков) освоения иноязычных морфем близких или тождественных по форме, значению и материальному (списочному) составу, имеют разные результаты этого процесса? Какие причины определяют эти различия — языковые или причины более высокого порядка, формирующие саму языковую систему?

Общим правилом адаптации заимствованных слов и морфем в сравниваемых языках является их подчинение графическим, орфографическим и морфологическим закономерностям языка-рецептора. В чешском языке иноязычные слова, так же как и исконные, стабильно имеют экспираторное ударение, фиксированное на первом слоге слова, независимо от стилистической характеристики высказывания. Например: *agitátor, boxer, civilizace, designér, díverzant, folklorista, frajer, frizúra, instruktor, katolicismus, kilometráž, pretendent, režisér, univerziáda* и др.

В сербскохорватском языке ситуация более сложная. С одной стороны, литературная норма закрепляет произношение иноязыч-

ных слов в соответствии с орфоэпическими правилами, предполагающими нефиксированное ударение, долговосходящее или кратковосходящее на первом слоге, и долговосходящее или кратковосходящее на любом, кроме последнего слога в слове. Словари², например, фиксируют следующие акценты в произношении заимствованных слов: долговосходящее ударение на суффиксальном слоге у имен на *-аја(а), -ај(а), -ициј(а), -ациј(а), -изациј(а), -ит(а), -ур(а), -итис*. Например: *колонбда, трикотажа, експедиција, егзалтација, метрополита, глазура, бронхитис* и др.; кратковосходящее ударение на первом суффиксальном слоге у имен на *-анциј(а), -енциј(а), -изам, -итет, -итис*. Например: *квантанција, кондоленција, импресионизам, целебритет, бронхитис*; кратковосходящее ударение на предсуффиксальном слоге у имен на *-ант(-ент), -ат, -ер, -ит, -иј(а), -циј(а), -ик, -ист(а), -ор(-атор)*. Например: *циркусант, депонент, егзархат, боксер, метрополит, комплексија, дедукција, флегматик, архивиста, дефлагратор, електор*; кратковосходящий акцент в словах *џензор, дриблер, пјакер, аблендер, блендер* и некоторых других. С другой стороны, в устной речи даже лиц, владеющих литературной нормой, встречаются отклонения от называемых выше орфоэпических правил, т.е. произношение кратковосходящего акцента вне официальных слов. Ср. литературное и нелитературное произношение: *доцент – доџент, диригент – диригент, командант – командант, лингвист – лингвист, солист – солист, агитатор – агитатор, регулатор – регулатор* и др.³. Правда, по признанию некоторых исследователей трудно точно фиксировать восходящее ударение, поскольку оно не ограничивается акцентуированным слогом, а распространяется и на последующий слог, где происходит понижение тона. Однако многие носители языка все-таки различают эти два типа произношения, что и зафиксировано в словарях, грамматиках, научных статьях, на которые мы опирались в своем исследовании⁴. Сложность и противоречивость проблемы, какой акцент считать правильным при произнесении иноязычных слов – соответствующий орфоэпической норме или нарушающий ее – демонстрирует и кодифицирующая литература. В частности, словарь иностранных слов Б. Клаича⁵, в котором, в нарушение нормы, узаконивается кратковосходящих акцент не на первом слоге в словах *дизајн, дизајнер*. Видимо, однозначного мнения по

²?

данному вопросу нет и в рядах лингвистов, многие из которых, по свидетельству М. Стевановича, настаивают на правильности краткоисходящего акцента в словах типа *директор*, *командант*, *лингвист*, *агитатор* и др., поскольку оно отражает произношение данных слов в языке-источнике заимствования⁶. Сам М. Стеванович полагает, что подобное нарушение нормы может служить свидетельством новизны заимствованного слова, его политеатурности, а также выполняет стилистическую функцию – маркирует слово как насмешливое, шутливое⁷. Например, литературное *жаждрант* и насмешливое, шутливое *жамордант*.

В нашу задачу, однако, не входит решение проблемы, как более правильно произносить иноязычные слова в сербскохорватском языке. Мы лишь отмечаем тот факт, что иноязычные слова в данном языке не испытывают такого жесткого давления системы, как в чешском языке, и что в их произношении вольно или невольно допускаются варианты.

Большая часть субстантивных иноязычных суффиксов, во всяком случае все продуктивные морфемы, являются морфологически освоенными в чешском языке. Слова с данными суффиксами имеют грамматическую характеристику мужского или женского рода и парадигму склонения, соответствующую качеству конечного согласного основы, принадлежности слова категории одушевленности / неодушевленности. В сербскохорватском языке иноязычные слова также имеют грамматическую характеристику мужского или женского рода и парадигму склонения, соответствующую характеру флексий и принадлежности слова категории одушевленности / неодушевленности. То есть иноязычные суффиксы являются, как правило, морфологически освоенными морфемами. Однако допускаются варианты словоизменительных парадигм для имён с одним и тем же суффиксом. Так, например, слова с продуктивным суффиксом *-ист*, имеющие грамматическое значение мужского рода, могут иметь цепевую флексию и изменяться по I склонению, если они употреблены в литературном стиле, и окончание *-а*, и соответственно парадигму II склонения, если они функционируют в разговорной речи. Это стилистическое различие в употреблении вариантов суффикса фиксировал Св. Маркович⁸. Современные словари, грамматики приводят обе формы без указания на сферу упо-

требления. Подобные варианты словоизменения имеют также слова с суффиксами *-im(-im(a))* (*метрополит – метрополита*), *-am(-am(a))* (*литерат – литерата*), и изредка *-ant(-ant(a))* (*игнорант – игноранта*). Форма *игноранта* отмечена как пераспространенная⁹.

Способность иноязычного суффикса присоединяться к исконным мотивирующим основам языка-рецептора (т.е. образовывать гибридные наименования), в литературе принято считать показателем уровня словообразовательной освоенности морфемы. В чешском языке к исконным мотивирующим основам присоединяются суффиксы *-ac(e)*, *-izač(e)*, *-ád(a)*, *-ant*, *-átor*, *-áž*, *-ism(us)*, *-isť(a)*, *-it(a)*. Например: *čechizace*, *naduce*, *robotizace*, *skokáda*, *neposlu-**chant*, *slepant*, *tupant*, *pracant*, *čechizátor*, *synátor*, *vědator*, *kusáž*, *stopáž*, *senáž*, *čechistus*, *moralistus*, *klasista*, *podobojista*, *strandista*, *husita*, *ivanita* и др. Это достаточно старые образования, известные в языке уже давно, за исключением неологизмов *senáž*, *stopáž*, еще не зафиксированных в словарях чешского языка. В сербскохорватском языке таких суффиксов больше. Это все те же *-ad(a)*, *-аж(a)*, *-ант*, *-атор*, *-изам*, *-ациј(a)*, *-изациј(a)*, но также и *-ер*, *-итис*, *-иј(a)* и весьма продуктивный в такого рода образованиях *-ациј(a)*. Например: *луквијада*, *стихијада*, *гњаважа*, *макљажа*, *њупажа*, *бифлант*, *бубант*, *забушант*, *жаморант*, *бежанџија*, *гужванџија*, *лафрканџија*, *изврданџија*, *измотанџија*, *гњаватор*, *спагатор*, *балвандер*, *лепотанер*, *бренизам*, *ијекавизам*, *икавизам*, *говнарија*, *бренизација*, *враголија*, *забушација*, *муралиста*, *пехиста*, *слухиста*, *изборитис*, *кокодакитис*, *ногометитис* и др. В целом можно отметить большую активность сербскохорватского языка в образовании гибридных слов: больше суффиксов их образующих, больше и самих дериватов, причем много новообразований, зафиксированных в публицистических текстах 70-х – 80-х годов¹⁰.

Казалось бы, раз иноязычные суффиксы столь активны в сербскохорватском языке, значит они достаточно хорошо вошли в словообразовательную систему языка, и их использование может не ограничиваться только теми словообразовательными типами, которые сложились в языке-источнике заимствования, а могут входить в оригинальные словообразовательные структуры, возникшие уже на почве сербскохорватского языка. То есть мы имеем в виду такие словообразовательные типы, модели, которые в сербскохорватском языке не выделяются для заимствованных слов, а сло-

жились в данном языке в результате соединения исконной или иноязычной мотивирующей основы и иноязычного суффикса. Однако в сербскохорватском языке отмечен пока только один суффикс, свидетельствующий о возможности такого процесса. Это суффикс *-итис*, употребляющийся в составе отсубстантивных имен существительных – медицинских терминов, обозначающих заболевания. Например: *апендицитис*, *бронхитис*, *циститис*, *простатитис* и др. В составе гибридных наименований суффикс *-итис* образует две окклюзиональные модели:

- 1) "глагол + *-итис*; болезнь, возникшая в результате осуществления действия": *кокодакитис* 'болезнь кур, произошедшая от кудахтания' от глагола *кокодакати* 'кудахтать': ...*умрло је девет кокоши*. *Сахрањене су у воћњаку, а објављено је да су умрле од кокодакитиса*¹¹. Повизна здесь заключается не только в том, что литературный суффикс *-итис* присоединен к стилистически сниженной (разговорной, жаргонной) мотивирующей основе, но и в том, что эта основа является глагольной;
- 2) "имя существительное + *-итис*; болезненный процесс, заболевание": *изборитис*, *концертитис*, *полометитис* и др. Например: *Гласове су ... протумачени болешћу "изборитис"*¹². Здесь повизна связана с изменением семантической характеристики мотивирующих слов, называющих явления разных областей человеческой деятельности, а не наименования органов тела, в которых возник патологический процесс.

В чешском языке больше суффиксов участвует в образовании подобных новых словообразовательных структур, больше и слов, возникших по этим моделям. Это:

- 1) "слова, образованные из предложно-падежных сочетаний + суффикс *-ismus*; манера понедения, свойство характера": *za bukem - zabukismus*, *po lopatě - polopatismus*, *já na brachu - jánpabručismus*, *ode zdi ke zdi - odedzikezdismus*¹³;
- 2) слово, образованное на основе словосочетания *pletenež zboží - pleťáz*. Формально исходной мотивирующей основой является имя прилагательное + *-az*; словообразовательное значение – изделие из материала, названного мотивирующим словом.
- 3) словообразовательный тип "имя прилагательное + *-ant*; лицо – носитель некоего признака": *sleplant*, *suehant*, *tüplant*, *vztekplant*: .., *nu viděš*, *slepante*¹⁴;

4) словообразовательная модель "имя существительное + *-átor*; стилистическое модифицирующее значение, выраждающее иронию, пренебрежение": *synátor* 'сыночек'¹⁵.

В чешском и сербскохорватском языках, как и в других славянских языках, произошла лексикализация суффикса *-ism(us)* // *-izam*, т.е. он употребляется как самостоятельное слово с иронической или уничижительной окраской в значении "одно из многочисленных направлений в области науки, философии, политики, искусства". Однако только в чешском языке слово *ismus* способно мотивировать уменьшительное *ismiček*¹⁶.

По характеру стилистического функционирования имен с иноязычными суффиксами ситуация в чешском и сербскохорватском языках сходна. Основную массу существительных с иноязычной мотивирующей основой и иноязычным суффиксом составляют литературная, эмоционально-нейтральная лексика, относящаяся к книжному, специальному, публицистическому стилям, разговорной речи. И что естественно, поскольку главным источником пополнения словарей славянских языков иноязычными заимствованиями являются специальные тексты, терминология. На периферии находятся нелитературная лексика, представленная элементами общедиалоговорной речи, сленга, жаргона, а также оценочные наименования, передающие кроме лексического значения также и субъективное отношение говорящего к предмету речи. Впрочем, выражать субъективное восприятие объекта речи способно, в принципе, любое слово. Даже не имеющее такого значения в своей лексической структуре. В каждом языке для передачи этого значения существуют свои собственные средства выражения, как правило, свойственные именно данному языку. Это могут быть соответствующие интонационные конструкции, синтаксические конструкции и словообразовательные средства. В последнем случае, когда эмоциональное восприятие говорящего передается материальными средствами – исконным суффиксом субъективной оценки, заимствующая языковая система наиболее тесно соприкасается с иноязычным словом и находящими в его состав морфемами, получает возможность активного воздействия на его фонетическую структуру, создает предпосылки для установления иноязычным словом словаобразовательных связей, регулярных для слов данного грамматического класса в языко-рецепторе. Иноязычный суффикс включается

таким образом в парадигматические и синтагматические отношения с исконными словообразовательными морфемами различных лексико-семантических и лексико-грамматических классов. Происходит более глубокое его вхождение в словообразовательную систему заимствующего языка.

Сравнивая словообразовательные синтагмы, парадигмы и цепочки, мотивированные именами с иноязычными суффиксами, в чешском и сербскохорватском языках, мы пришли к выводу, что в чешском языке для выражения субъективно-оценочных значений суффиксальные средства используются чаще. Например, от эмоционально-нейтральных имен в чешском языке образуются:

- 1) имена со значением мужского лица с уничижительной эмоциональной окраской (*kritik* – *kritikář*);
- 2) уменьшительные существительные, маркированные как экспрессивные, уничижительные (*agitátor* – *agitátorček*, *diktátor* – *diktátorček*, *diletant* – *diletantek*, *inteligent* – *inteligentek*, *intelligent* – *intelligentek*, *kolaborant* – *kolaborantek*, *kolaborantíček*, *literát* – *literátek* и др.);
- 3) имена существительные со значением свойства, оцененного как нейтральное (*inteligent* – *intelligentstina*, *komediant* – *komediantstina* и др.).

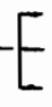
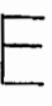
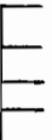
От эмоционально маркированных или стилистически сниженных исходных наименований с иноязычными суффиксами кроме называемых дериватов образуются также и глаголы: *frajter* (обих.-разг.) – *frajereček*, *frajrek*, *frajerina*, *fraješit*; *politik* – *políčkař* (нейор.) – *politikaři*; *kritik* – *kritíkař* (нейор.) – *kritíkařit* и др.

В сербскохорватском языке, как показывают словари, иноязычные существительные с рассмотриваемыми суффиксами редко мотивируют производное субъективного восприятия. В качестве примера можно привести уменьшительные имена существительные, маркированные как ироничные, пренебрежительные: *kančelista* – *kančelistički*, *literat* – *literatički*.

Показательной в отношении освоенности иноязычных суффиксов в чешском и сербскохорватском языках является и сама способность слов с данными суффиксами формировать в 'западном' языке ряды производных слов (не только субъективно-оценочных). В чешском языке словообразовательные парадигмы, как правило, более разветвлены, сложны по компонентному составу и многогранны по структуре, чем парадигмы от имён с соответ-

сительными иноязычными суффиксами в сербскохорватском языке. Ср., например, словообразовательные гнезда, вершиной которых являются имена с суффиксами *-ant* (-*ent*) и *-ant* (-*ent*)¹⁷:

- 1) N - Nf *imigrant* — *imigrantka*; *inspicient* — *inspicientka*; *циркусант* — *циркусанткиња*, *циркусантица*; *деликвент* — *деликвенткиња*;
- 2) N - At *duelant* — *duelantský*; *oferent* — *oferentský*; *депонент* — *депонентни*, *десифрат* — *десифратни*;
- 3) N - [^{Nf}
At] *figurant* — *figurantka*, *figurantský*; *absolvent* — *absolventka*, *absolventscký*; *емигрант* — *емигранткиња*, *емигрантски*; *апсолвент* — *апсолвенткиња*, *апсолвентица*, *апсолвентски*;
- 4) N - [^{Nf}
At - Ad] *bakchant* — *bakchantka*, *bakchantský*, *bakchantic-*
ky, *bakchantsky*; *игнорант* — *игноранткиња*, *иг-*
норантни, *игнорантски*, *игнорантно*;
- 5) N - [^{Nf}
At - N at] *pretendent* — *pretendentka*, *pretendentský*, *pre-*
tendentství; *комедијант* — *комедијантица*, *ко-*
медијанткиња, *комедијантски*, *комедијантство*;
- 6) N - At - [^{Ad}
N at] *ekvivalent* — *ekvivalentní*, *ekvivalentně*, *ekvi-*
valentnost; *kapitulant* — *kapitulantský*, *kapitulant-*
sky, *kapitulantství*; *капитулант* — *капитулант-*
ски, *капитулантски*, *капитулантство*;
- 7) N - At - N at *furiant* — *furiantský*, *furiantství*;
- 8) N - [^{Nf}
N at] *emigrant* — *emigrantka*, *emigrantství*;
- 9) N - [^{Nf}
At - [^{Ad}
N at]] *ignorant* — *ignorantka*, *ignorantský*, *ignorantsky*,
ignorantství;
- 10) N - [^{Nf}
At *konzument* — *konzumentka*, *konzumentský*, *kon-*
N col *zumentstvo* (редк.);

- 11) N - 
Nf
N col
At - 
Ad
N at
- protestant* – *protestantka, protestantstvo*
 (устар.), *protestantský, protestantsky, protestantství*.
- 12) N - 
Nf
N dem
At – *Ad*
- komediant* – *komedianka, komediantka, komediantský, komediantsky, komediantstvo*.
- 13) N - 
Nf
N expr
N dem
At
- kolaborant* – *kolaborantka, kolaborantik* (экспрес.), *kolaborantníček, kolaborantský*.
- 14) N - 
Nf
N expr
N dem
N col
At – *Ad*
- intelligent* – *intelligentka, intelligentníček, intelligentstvo* (редк.), *intelligentský, intelligentsky*.

Приведенный материал позволяет высказать следующую гипотезу. В чешском и сербскохорватском языках сложились разные традиции, установки в отношении принятия и использования иноязычных элементов – слов и морфем греко-латинского происхождения. Обращаясь к терминам психологии, можно сказать, что чешская и сербскохорватская словообразовательные системы выступают как бы в качестве субъекта, а иноязычный лексический и словообразовательный материал – в качестве объекта взаимодействия. При этом в отношении иноязычных слов и морфем чешская языковая система, опосредованно, через носителей языка, характеризуется интровертивным, а сербскохорватская – экстравертивным типом восприятия. Согласно определению К.Л. Юнга для "интровертивной установки характерно утверждение субъекта с его осознанными намерениями и целями в противовес притязаниям объекта; экстравертивная установка отмечена, наоборот, покорностью субъекта перед требованиями объекта"¹⁸. Для чешского языка характерно целенаправленное владение материалом, жесткое подчинение иноязычных слов и морфем собственным языковым

закономорностям. Влияние чешской языковой системы отражается не только на внешних условиях функционирования иноязычных слов и морфем, но и затрагивает глубинные пласты – структуру словообразовательного типа, его значение, словообразовательные потенции слов с иноязычными суффиксами, их деривационные связи.

Сербскохорватский язык, напротив, воспринимая иноязычные слова, суффиксы в их составе, словообразовательные типы, использует их в собственном словообразовательном процессе, достаточно мало видоизменяя и модифицируя. Часто только на формальном уровне (графика, фонетика, морфология, акцентуация) да и то не всегда последовательно.

Подтверждение такого экстравертного типа восприятия, который, как нам кажется, характеризует сербскохорватское языковое мышление, мы видим в наблюдении, сделанном Т.М. Николаевой относительно протяженности во времени речевых единиц, общей для всех языков балканского ареала – 120, 80, 100 мсек¹⁹. Этот достаточно низысокий темп речи она связывала с "установкой на чужого", желанием быть понятым, свойственным для народов балканского ареала, и в частности, сербам и хорватам.

В чешском языке, как нам представляется, установка другая – "на себя", что связано с переработкой "чужого", приспособлением его к собственной языковой системе. То есть не собственное языковое мышление адаптируется к чужой системе форм и значений, а чужие формы и значения подчиняются собственным языковым закономорностям.

Таким образом, отвечая на поставленный в начале статьи вопрос, какие причины определяют различия результатов освоения иноязычных морфем греко-латинского происхождения в близкородственных языках, сделаем предположение, что на формирование языковой системы, в нашем случае словообразовательной, на функционирование в ней отдельных языковых элементов, оказывают влияние не только внутрилингвистические факторы, но и психологический тип языкового мышления, сложившийся у данной нации или наций.

Примечания

1 Данный вопрос подробно рассматривается в нашей статье "Интернациональные суффиксы имён существительных в современном чешском и сербскохорватском литературных языках" в сб. "Тенденция интернационализации в современных славянских литературных языках" (в печати).

2 Речник српскохорватского книжного и народного језика. Београд, 1959–1981.

3 Стевановић М. Савремени српскохрватски језик. I. Београд, 1968. С. 162; Попова Т.Н. Сербскохорватский язык. М., 1966. С. 42.

4 См.: Речник...; Klaic B. Velki rječnik ...; Стевановић М. Указ. соч.; Попова Т.Н. Указ. соч.; Тиртова Г.Н. Интернациональные суффиксы в словообразовательной системе существительных сербскохорватского языка // Дис. ... канд. филол. наук. М., 1984; Priručna gramatika hrvatskog književnog jezika. Zagreb, 1979; Babić S. Mješovite tvorenice // Jezik. 1977 – 1978, № 5. С. 130–138; Николић В.М. Акцент на интернационализации у савременом српскохорватском книжном језику // Наш језик. 1971. Т. 17, № 4–5. С. 220–228 и др.

5 Klaic B. Velki rječnik ...

6 Стевановић М. Указ. соч.

7 Babić S. Mješovite tvorenice ...

8 Марковић Св. О именицима на -ист(а) и сл. // Наш језик. 1951, књ. III, Св. 1–2. С. 12–27.

9 Речник ...

10 См.: Тиртова Г.Н. Указ. соч.

11 Пример Тиртовой Г.Н. Указ. соч.

12 Пример Бабича С. Указ. соч.

13 Dokulil M. Nepotřebujeme vyčkávače a zabukisty // Naše řeč. 1968, r. 51, № 4. S. 255.

14 Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1960–1971.

15 Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha, 1967.

16 Slovník ...

17

Условные обозначения: N – имя существительное; Nf – им. сущ. со значением женского лица; N at – им. сущ. со значением отвлеченного свойства; N col – им. сущ. со значением собирательности; N expr – им. сущ., маркированное как экспрессивное; N dem – им. сущ. уменьшительное; At – имя прилагательное; Ad – наречие.

18

Юн К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Архетип и символ. М., 1991. С.275.

19

Николаева Т.М. Просодия Балкан: слово – текст // Балканские чтения – 2. Симпозиум по структуре текста. М., 1992. С. 80.

О КРИТЕРИЯХ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ТОЖДЕСТВА
НА ФОНЕТИЧЕСКОМ УРОВНІ
(на материале восточнославянских диалектов)

Как известно, раньше всего славянские языки были подвергнуты типологической классификации на фонетическом уровне. Идея Исаченко¹, распределившего славянские языки по вокалическому и консонантическому типам, прочно утвердилась среди типологических представлений о славянских языках и диалектах. Исаченко удачно выбрал типологический критерий — а именно, соотношение вокальных и консонантных элементов в языке, т.е. явлений, имеющих универсальный характер. Особое значение приобретала корреляция напатализованности в связи с ее влиянием на инвентарный состав консонантизма.

Первая типологическая классификация была ориентирована на корпус фономатических единиц, отчасти на правила их сочетания, т.е. знаком типологического сходства/различия была выбрана дискретная единица типа звук/фонема. Организованная из них система представляла в виде статического типологического знака.

Между тем, статическая модель отражает лишь один аспект фонетического устройства языка, выводя как бы за скобки динамические его особенности. Поэтому вполне закономерен, проявившийся в последние годы интерес к типологической интерпретации развертывания звуковых (фонемных) цепей, т.е. к динамической стороне звукового строя^{2,3,4}.

Специфика фонетического строя любого языка определяется не только инвентарем, но и в ее меньшей степени правилами сингтагматики, т.е. правилами включения гласных, согласных, пауз в звуковую цепь. При этом наиболее отчетливо вскрываются от-

попадания между вокальными и консонантными элементами, поскольку они не вступают друг с другом в отношения оппозиции, а только в отношения синтагматического контраста.

В предыдущей статье я хочу показать, насколько существенно может различаться динамика звуковых цепей (последовательностей) в диалектах, имеющих одинаковый статический типологический знак.

Взяты два говора, по классификации Исаченко представляющие радикально консонантический тип. Согласные фонемы составляют в них более 70% фонемного инвентаря, имеется корреляция твердых-мягких согласных. Это – украинский гуцульский говор (Раховский р-н) и южнорусский, расположенные в юго-восточном регионе (Моршанский р-н).

При оценке правил построения звуковых цепей учитывается уровень участия в них признаков вокальности/консонантности, т.е. привлекается тот же критерий, что и для установления статического типологического знака.

Определение уровня вокальности и уровня консонантности звуковой последовательности основывается на разных критериях.

Артикуляция гласных по самой своей природе находится вне возможности ступенчатого снижения уровня вокальности этих звуков – здесь возможно лишь устранение гласного путем его редукции до нуля, т.е. уменьшение количества гласных в звуковой последовательности. По уровень участия гласных в звуковой последовательности может быть оценен с точки зрения стабильности вокального состава слова. Можно считать, что уровень вокальности тем выше, чем в меньшей степени представлено позиционное свертывание максимального для языка набора гласных.

Специфика консонантной артикуляции обладает возможностью изменения уровня консонантности согласного. Это связано с тем, что признак консонантности может быть оценен по "шкале нарастания/снижения консонантности" (термин Пауфоми³). Наибольшая консонантность присуща смычным глухим, наименьшая – сошестям; в промежутке располагаются шумные фрикативные, звонкие пневмические согласные. Изменение в звуковой цепи более консонантных согласных в менее консонантные можно оценивать как снижение уровня консонантности соответствующей последовательности.

Консонантность тем выше, чем устойчивее артикуляционный контраст согласных в звуковой цепи. Особенно важна устойчивость места и способа образования согласного. Естественно считать, что сочетание *щц* более консонантно, чем *с'ц'*; то же относится к *дл* и *лл*, *дж* и *нн*, *тч* и *чч* и др.

С точки зрения перечисленных показателей динамика образования звуковых цепей в гуцульском и южнорусском говоре существенно различается.

В гуцульском говоре правила включения гласных в звуковую последовательность ориентированы на стабильность вокальной модели слова. Позиционное изменение артикуляции гласных не меняет их количество в разных позициях. Не меняется и схема артикуляционного расстояния между гласными.

После твердых зубных: уд. /и – у – е – о – ə – ə/ (*сіл'* – *сук-сен* – *сбсна* – *сбмеро* – *сблло*), б/уд. /и – у – и – о/φ – ə – ə/ (*бейн'* – *суйбтний* – *в'їспали* – *сок'бра/собі'* – *сестрá* – *самá*).

После твердых губных: уд. /у – ə – ə – ə – ə/ (*пампух* – *пев-во* – *пбтік* – *пфклло* – *нáзуха*), б/уд. /у – и – ə – ə – ə/ (*сбпух* – *в'їпивбли* – *порос'є* – *некіј* – *насү*).

После твердых заднеобеных независимо от ударения /у – ə – ə/ (*күсеп'* – *кук'л'* – *кбждий*, *колбска* – *кáш'и*, *каптбр'*).

После мягких заднеобеных: уд. /и – ə – ə/ (*к'їм* – *к'єну* – *к'їпск'ий*), б/уд. /и – ə/ (*к'їмбк* – *к'їодбї* – *күк'ср*).

Стабильности вокальной модели слова соответствует и малое количество позиционных чередований гласных.

Приоритетным правилом включения согласных в звуковую последовательность, образующую слово, является их унификация по способу и месту образования. Именно такой тип чередований представлен более всего. Ассимиляция согласных происходит не только в прогрессивном направлении, но и прогрессивном. Ср. *бм*, *бм' → мм*, *мм'*, *ди → ии*, *ди → лл*, *щц' → с'ц'*, *чц' → ч'ц'*, *ст' → с'ц'*, *зð' → з'ðз'*, *шт' → ш'ч'*, *жð' → ж'ðж'*.

Снижение консонантного контраста в сочетании делает звуковую цепь более монотонной. При прогрессивной же ассимиляции согласные теряют свою автономность благодаря взаимной позиционной обусловленности – и этом также виден знак снижения уровня консонантности.

В то же время в синтагматике согласных в гуцульском говоре проявляются признаки охранительной тенденции в отношении звонкости согласных в условиях сандхи. Здесь в позиции $\# \emptyset$ звонкие согласные отчасти сохраняют голос (d $\#$) или при утрате голоса сохраняют присущий звонкому согласному низкий уровень напряженности (f $\#$). Звонкость шумного согласного сохраняется перед $\# V$, Son. Поскольку звонкие согласные менее консонантны, чем глухие, в сохранении звонкости в условиях сандхи можно видеть стремление не повышать уровень консонантности в звуковой цепи, что могло бы произойти при оглушении конечных согласных.

Гуцульскому говору свойственен принцип автономности вокальной и консонантной частей слова. Уподобление по тону, как основной вид взаимосвязи согласных и гласных в слове, выражено слабо. Аптицизация переднего гласного при выборе согласного не включена в фонетическую модель слова как обязательный компонент. И это независимо от способов артикулирования передних гласных — нет такой позиции перед передним гласным, в которой был бы запрещен твердый согласный (*cik*, *носéти*, *víносит*, *сáмро*). В то же время перед всеми передними гласными допустимы и мягкие согласные. Это означает, что связь мягкого согласного с передним гласным решается не на уровне фонетического правила, а на уровне лексического выбора.

Относясь достаточно индифферентно к согласным, гласные в то же время обнаруживают в пределах слова связь друг с другом. Это выражается в том, что гласные разных слогов могут сближаться по уровню подъема — *o* → *ø* перед слогом с *i*, *y*, а также *ü*. Ср., *побі́ч*, *с'є небойт*, *хот'їла*, *проб'їдали*, *тому* (при *томб*), *жону́*, *колу́* и под. В этом просматриваются элементы самостоятельности вокальной части слова как особого компонента фонетической модели.

Из сказанного можно сделать вывод, что в гуцульском говоре включение гласных в звуковую последовательность ориентировано на стабильность вокальной модели слова. Включение же согласных, напротив, сопровождается свертыванием консонантного разнообразия. В типологическом плане это означает, что для фонетического строя диалекта характерна приоритетность вокальных элементов, а стабильность консонантных элементов оценивается ниже.

Южнорусский диалект демонстрирует совершенно иную картину. Здесь включение гласных в звуковую последовательность происходит по правилам яканья с высоким уровнем редукции безударных гласных неверхнего подъема, доходящей до нуля во втором предударном и заударном слогах. Под ударением представлены гласные /i – у – е – о – а/, в первом предударном /i – у – а/i/, во втором предударном /i – у – ъ, ь//ɸ/. Этим эксплицируется снижение ценности гласного в звуковой цепи. Совпадение безударных гласных снижает вокальное разнообразие речевой последовательности, а нулевая редукция вообще сокращает насыщенность звуковой цепи вокальным элементом. Гласные находятся в тесной зависимости от согласных в слове. Это – выбор предударного гласного после мягкого согласного по модели умеренного яканья, недопустимость после твердых согласных гласных переднего ряда. Это придает вокальной части слова некую монолитность, в которой теряется ценность отдельного гласного.

На фоне понижения ценности гласных в этом говоре отчетливо просматривается охранительная тенденция в отношении признака консонантности при включении согласных в звуковую последовательность. Здесь в меньшей мере, чем в гуцульском говоре, представлена ассимиляция по способу и месту образования. Оглушение шумных в условиях сандхи увеличивает вес консонантного признака в слове. Но особенно показательно в этом говоре охранительное отношение к артикуляции сонантов в звуковой цепи. Проявляется это в следующем.

Особенность артикуляции сонантов состоит в том, что они сближаются с шумными согласными или гласными даже при небольшой деформации уровня шума или голосности. Высокая ценность в звуковой цепи консонантной артикуляции вообще предполагает и стабильность артикуляции сонантов как представителей особого консонантного класса. Для этого сонант не должен ни повышать шум, ни понижать голосность. Стабильный уровень голосности сонанта укрепляет его статус как согласного. Именно в этом отличие сонантов от шумных согласных – ведь консонантный статус шумных не связан обязательно с участием голоса.

Условия для снижения голосности сонантов создаются в соседстве с шумными – именно здесь появляется возможность адаптации сонанта шумному. Как отмечает О. Брок, снижение участия

голоса у сонорных после шумных "встречается повсюду в славянской речи; именно первая часть сонорного становится часто безголосо... Но так как безголосая часть часто лишь минимальна, а решающим для слуха моментом становится в таких случаях последняя часть сонорного согласного, то этот початок уподобления остается без заметного значения для звукового строя"⁵. Если же снижение голоса в образовании сонанта пересекает порог аудитивной невоспринимаемости, то наступает эффект оглушения сонанта после шумного. Условия для снижения голосности в конце сонанта имеются и перед шумным согласным (ретрогressive ассимиляция).

Стремление сохранить в звуковой цепи статус сонорного согласного как представителя особого консонантного класса сопровождается сопротивлением понижению голосности при его сочетании с шумными согласными. Это достигается тем, что в рассматриваемом говоре сонант экранируется от соседних шумных согласных вставным, этимологически немотивированным гласным – *съма-лъ, кӯкъла, вѣлъкъ, вѣлъс* и под.

Это явление русской диалектологии хорошо известно, но не имеет вполне удовлетворительного объяснения. Наша идея может показаться парадоксальной, так как предполагает, что с помощью гласных можно поддерживать достаточно высокий уровень консонантности звуковой последовательности. Но специфическая роль вставных гласных в говоре очевидна. Вставные гласные представляют собою исключительно элемент сопровождения сонантов в консонантных сочетаниях. Вставные гласные не причастны к вокализму – на это указывает то, что на них не распространяются правила вокальной синтагматики. Будучи по своей артикуляции редуцированными, они тем не менее выступают в 1-м предударном слоге, что для этимологических редуцированных запрещено – *каз'ъл'бнъкъ, калъхб'нъкъ, сълухай*. Вставной гласный во многих случаях не проецируется на слогоделение. Ср. *пълатък* → *пла/ток*, *кърут'и́м'* → *кру/т'и́м'* и под. Эти факты свидетельствуют, что говорящими вставные гласные не осознаются как элементы вокализма. В этом отношении им противоположны гласные, редуцированные до нуля. То, что они продолжают существовать в сознании говорящих как вокальные фонематические единицы, выявляется при слогоделении, когда в сегментированном на слоги слове редуцированные до нуля

гласный восстанавливается. Ср. *платнб* → *пы/ла/тно, кбжнъи* → *ко/жы/ны/йи, д'ир'в'бнныи* → *д'i/p'i/в'б/нныи* и под.

В южнорусском говоре вставные гласные поддерживают высокий уровень консонантности звуковых цепей и в этой вспомогательной роли и состоит их назначение. В таком использовании гласного как такового, вероятно, можно видеть дискредитацию вокальной артикуляции как языкового знака. Другого объяснения вставным гласным трудно подыскать. При нулевой редукции безударных гласных *неверхнего* подъема рассматривать вставные гласные как элемент вокализма целогично. А как элемент консонантной части звуковой последовательности *вставной гласный* вполне понятен.

Сопоставление гуцульского и южнорусского говоров показывает, что динамика звуковых цепей, определяемая правилами включения в фонетическую последовательность гласных и согласных, основана на приоритете разных компонентов фонетики – вокальности в гуцульском, консонантности в южнорусском. Это означает, что типология статической модели (фонологическая система) может не совпадать с типологией развертывания звуковых цепей (сintагматическая модель).

Как было сказано, оба рассматриваемых говора по устройству фонемной системы отнесены к консонантическому типу. Но по правилам развертывания звуковых цепей гуцульский говор не совпадает с фонологическим типом, демонстрируя приоритет вокальных элементов. Южнорусский же диалект единообразен как по своему статическому, так и по динамическому типу – в обоих случаях господствует признак консонантности.

Анализ славянских языков (диалектов) с точки зрения типологии построения в них звуковых последовательностей расширит представление о типологической дифференциации славянского континуума. В целях наглядности даем таблицу, в которой показано отношение к вокальности/консонантности при развертывании звуковых цепей в двух рассмотренных диалектах.

Гуцульский говор

Южнорусский говор

1. Стабильность вокальной модели слова независимо от ударения.
 2. Снижение уровня консонантности звуковой последовательности путем многочисленных ассимиляций по способу и месту образования согласных ($\text{ш} \xrightarrow{\cdot} \text{с'и}$, $\text{дж} \xrightarrow{\cdot} \text{ни}$, $\text{бм} \xrightarrow{\cdot} \text{мм}$, $\text{чч} \xrightarrow{\cdot} \text{и'и}$, $\text{дл} \xrightarrow{\cdot} \text{лл}$, $\text{ли} \xrightarrow{\cdot} \text{ни}$, $\text{ст} \xrightarrow{\cdot} \text{с'и'}$, $\text{з'д} \xrightarrow{\cdot} \text{з'бз'}$, $\text{ж} \xrightarrow{\cdot} \text{хх'}$).
 3. Сохранение звонкости шумных согласных в условиях сандхи понижает уровень консонантности.
 4. Автономность вокальной и консонантной частей слова.
 5. Связь между гласными разных слогов, создающая эффект слогового сингармонизма ($\text{o} \rightarrow \text{ø}$ перед слогом с i , y).
1. Свертывание вокального разнообразия звуковой цепи в безударных слогах.
 2. Меньший объем ассимиляции по месту и способу образования согласных способствует стабильности уровня консонантности ($\text{сш} \rightarrow \text{ши}$, $\text{тч} \rightarrow \text{чи}$, $\text{тс} \rightarrow \text{ис}$, $\text{ти} \rightarrow \text{ии}$).
 3. Оглушение шумных согласных в условиях сандхи повышает уровень консонантности в звуковой последовательности.
 4. Зависимость гласных от консонантного окружения.
Зависимость согласного от ряда гласного.
 5. Связь между гласными разных слогов отсутствует.
-

Продолжение таблицы

-
- | | |
|---|---|
| 6. Примеров дескрипции вокальной артикуляции как языкового знака нет. | 6. Охранительное отношение к артикуляции сонантов как репрезентантов особого класса согласных. Используются вставные гласные как способ экранирования сонантов в звуковой цепи. Этим, в известной мере дезавуируется значение вокальной артикуляции как языкового элемента. |
|---|---|
-

Примечания

- 1 *Исаченко А.* Опыт типологического анализа славянских языков // Новое в лингвистике. В. III. М., 1963.
- 2 *Бромлей С.В.* Различие в степени вокализованности сопорных и их роль в противопоставлении центральных и периферийных говоров // Диалектография русского языка. М., 1985.
- 3 *Пауфошима Р.Ф.* Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1985. С. 55.
- 4 *Калнынь Л.Э.* К проблеме типологической характеристики болгарских диалектов // Болгаристика в системе общественных наук: Опыт, уроки, перспективы. Тезисы докладов и сообщений Второй всесоюзной конференции по болгаристике. Харьков, 1991.
- 5 *Брок О.* Очерк физиологии славянской речи. СПб., 1910. С. 169.

Т.Н. Малыр, О.Н. Селиверстова

"ПОВИТИЯ "ПРОСТРАНСТВА" И "РАССТОЯНИЯ"
В СЕМАНТИКЕ НЕКОТОРЫХ РУССКИХ
И АНГЛИЙСКИХ ПРЕДЛОГОВ И НАРЕЧИЙ

В предлагаемой статье мы попытаемся показать как по-разному могут комбинироваться между собой признаки пространства и расстояния в семантике некоторых предлогов и наречий русского и английского языков. Эти предлоги и наречия описывают такое положение X-а (т.е. локализуемого объекта), при котором он занимает либо примыкающую к Y-у позицию, либо отстоящую от него на некоторое расстояние (Y – это ориентир, релятив, т.е. тот объект, по отношению к которому локализуется X). Устанавливаются также разные способы вычленения пространства, отраженные в "картине мира" русского и английского языков.

1. Семантику слова может составлять информация именно о расстоянии между X-ом и Y-ом или о расстоянии местонахождения X-а от Y-а. Такое значение имеют наречия *близко*, *далеко*, *недалеко*, *far*, *close (to) near₁* (в одном из многих значений – *near₁*), им противопоставлена группа слов, указывающий на нахождение X-а в пространстве или в пространственной позиции P¹, которые в свою очередь тем или иным способом соотнесены с Y-ом. Сюда относятся, как мы попытаемся показать, предлоги и наречия *недалекости*, *рядом* (в нескольких значениях), *у*, *около*, *возле*, *near₂*, *nearby*, *closeby*, *beside*, *next to*, *by* и некоторые другие. Пространство S и позиция P¹ неизбежно непосредственно примыкают к Y-у: они могут отстоять от него на некоторое расстояние. Вследствие этого и в семантику слов второй группы может входить компонент "расстояние". Однако его место в семантической структу-

ре совершенно иное. В словах первой группы местоположение относится к пресуппозиции или имплицируется, а непосредственный предмет сообщения — именно расстояние X-а от Y-а. При слоях второй группы сообщается о том, в каком пространстве находится X или что с ним происходит, что он делает, находясь в этом пространстве S. Величина удаленности S от Y-а выступает здесь как исходная, заданная характеристика S. Упомянем сначала два теста, подтверждающие оправданность выделенного противопоставления. Во-первых, только члены первой группы могут сочетаться со словами *очень*, *так*, *относительно*², *very*, *so*, *this (this near)*. (Например:

(1) *Он стоял очень близко ко мне (*очень рядом, *очень около, *очень поблизости).*

(2) *I didn't know it was this near (*this nearby, *so beside).* Во-вторых, только слова первой группы могут употребляться при предикатах, указывающих на перемещение X-а в более близкую или дальнюю позицию по отношению к Y-у. Например:

(3а) *Я подошел совсем близко к нему (*подошел совсем рядом, *подошел около, *подъехал поблизости).*

(3б) *He crept close to them (*He crept nearby, near them и т.д.).*

Результаты тестирования объясняются выделенным различием. Понятно, что нельзя говорить о степени нахождения где-то: можно либо находиться где-то, либо не находиться. Ср.: **Он очень в комнате; *Он работает очень рядом.* Это не значит, однако, что значение нахождения в пространстве исключает "идею" градуальности. Объединение этих "концептов" возможно, если градуальность характеризует не нахождение, а свойство пространства: а именно если пространство S само воспринимается как членимое на несколько подобластей, одна из которых оценивается как воплощающая с наибольшей степенью полноты признак близости. Именно такую функцию при наречиях может выполнять слово *совсем*.

(4) *Он работает совсем поблизости от нас.*

(5) *Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и сполоборота глядел мимо него* (Солженицын).

Понятно также, что слова второй группы не могут выступать в функции пункта назначения (примеры 3а, 3б), так как они задают место, где происходит событие. Некоторые из них могут также указывать начальную позицию X-а³. (*Он пришел издалека*).

Остановимся теперь более подробно на каждой из выделенных групп. При этом будут отмечены и другие особенности употребления, которые также согласуются с проводимым противопоставлением.

2. Общеизвестно, что наречия типа *близко*, *далеко*, которые, как мы уже говорили, являются дистанционными, могут иметь локативное употребление, т.е. как мы бы сказали, указывать на расстояние местонахождения X-а от Y-а. Например:

(6) — Где Вы живете? — Я живу *далеко отсюда*.

В примере (6) сообщается о расстоянии места S (местожительства X-а) от Y-а; представление об S возникает из контекста. Оно здесь особенно четко осознается, так как сам X не находится в S. Однако даже если этого последнего условия нет (X находится в S или в P), в ряде случаев есть основания вводить S или P в семантическое описание и говорить о расстоянии именно S или P от Y-а, а не просто X-а от Y-а. В русском языке та или иная интерпретация контекстно обусловлена и часто четко не разграничивается (т.е. обе интерпретации разнодопустимы). Напротив, в английском языке предлог *near to* и наречие *near*, как мы полагаем, включают указание на местоположение в свое значение, т.е. передают информацию о расстоянии S или P от Y-а. В этом заключается отличие данных единиц от *close to*, которое, как и соответствующие русские слова, имеет чисто дистанционное значение. Известная сложность проверки выдвинутой гипотезы заключается в том, что предлог *near to* чаще всего, как известно, употребляется переносно. Тем не менее в художественной литературе мы нашли случаи непереносного использования. Большинство информантов (5 из 6) также оценивали такое употребление как допустимое, хотя и несколько странное, необычное. Оценка "полная ненормативность" (в нашей системе баллы 1 и 2) появлялась лишь в тех контекстах, которые не согласовывались с представлением о местоположении. Приведем некоторые аргументы в пользу сделанного утверждения.

Общеизвестно, что только слово *close* может выступать в качестве уточнителя при наречно-предложных словах, задающих пространственное положение X-а. Например:

(7) *She came close beside him, offering her shoulder* (J. Galsworthy)
‘Она встала рядом, совсем близко (букв. близко рядом), и подставила ему плечо’ (**near beside*). Это ограничение, однако, не нахо-

дило достаточно убедительного объяснения. Однако если учесть, что, как мы полагаем, слово *near* указывает не только на расстояние, но задает пространственную позицию, то, естественно, что оно не может использоваться для того, чтобы охарактеризовать расстояние пространственной позиции X-а от Y-а, заданной другим словом.

Далее, только *close to* используется, если X и Y соприкасаются: в этом случае либо психологически неестественно говорить о разном местоположении X-а и Y-а, либо логически невозможно, если Y является местом нахождения X-а. Например:

- (8) "*Vass ist dass?" breathed Shickel, crouching close to the snow (E.W.Hildick). "Что это?" – прошептал Шикель, вжимаясь в снег (букв. скорчившись близко от (покрывавшего землю) снега)' (**near to the snow*).'*

Очень часто в рассматриваемых ситуациях используется не глагол *be*, а глаголы указывающие на действия, субъектом или объектом которых является X при его нахождении в заданной пространственной позиции.

- (9) *His hair was cropped close to a bullet-shaped head* (Maugham). 'У него была круглая голова и коротко остриженные волосы (букв. остриженные близко от головы)' (**near to*).'

(10) *She held her arms close to the body. 'Руки у нее были прижаты к бокам'* (**near to*). Сочетания некоторых предикатов со словом *close* приобретают устойчивость и идиоматизируются (*to hold close* 'обнимать, прижимать к себе'). При отсутствии соприкосновения X-а и Y-а предлог *near to* и наречие *near* в исследуемом материале использовались, как правило, в тех случаях, когда нужно было подчеркнуть только близость расстояния, которая не приводит к каузативным связям или не служит условием или знаком какого-то "положительного" взаимодействия X-а и Y-а, их участия в едином, объединяющем их переживании или действии. Указанное употребление *near* также согласуется с постулируемой гипотезой. Понятно, что введение особой пространственной позиции X-а, рассмотрение ее расстояния от Y-а создает предпосылку для смещения фокуса внимания с непосредственного отношения X-а и Y-а, способствует их разъединению. Рассмотрим примеры:

- (11) *Their heads were quite close (*quite near).* 'Их головы почти соприкасались'. В примере (11) близость расстояния служит зна-

ком и условием объединения в каком-то общем действии или переживании, и, кроме того, расстояние приближается к нулю.

(12) *Near to him Millie's features trembled for a moment, quivered all over like something seen through disturbed water* (I. Murdoch).

'Лицо Милли, которое было так близко, на мгновение дрогнуло, каждая черточка пришла в движение как в отражениях на поверхности ряби'. В контексте примера (12) Y выступает просто как наблюдатель, присутствие которого X может даже не осознавать. Замена *near* на *close* может привести к представлению о зависимости описываемого события ('вздрогнуть') от близости к Y-у.

Представление о каузативных связях может также возникать при сопоставлении событий, положения дел E₁ и E₂, которые локализованы на разных расстояниях от X-а. При выборе *close to* различие в расстоянии воспринимается как причина, влияющая на несогласование E₁ и E₂. Употребление *near to* снимает представление о каузативных связях. Например:

(13) *Near to the Liffey the crowds were less dense* (I. Murdoch) 'Ближе к Лиффи толпа была не такая густая' (т.е. в местах, которые находились близко от Лиффи ...). Предлог *near to* может употребляться также в контекстах, в которых сообщается о том, что Z перемещает X в позицию, более близкую к Y-у, для осуществления какого-то действия.

(14) *He brought her near to the candle to look at her face* (L.St.John) 'Он подвел ее ближе (букв. близко) к свече, чтобы рассмотреть ее лицо'. В этом контексте подстановка *close to* не меняет, по-видимому, представления о связях элементов ситуации. Предлог *near to* употребляется также в ситуациях, в которых важно подчеркнуть не только, где находится X, но и на каком расстоянии находится это место от Y-а, и вместе с тем не связывать расстояние с представлением о функциональных связях X-а и Y-а. Например:

(15) *Demoyte was the former headmaster of St.Bride's, now retired, but still living in his large house near to the school* (I. Murdoch).

'Демойт был директором школы Сент-Брайд; теперь он ушел на пенсию, но все еще жил в своем большом доме, который находился недалеко от школы'. Близость расстояния X-а от Y-а подчеркивает бывшую причастность героя повествования к Y-у, но в то же время не представлена как условие прямого взаимодействия. Таким образом, *near to* обязательно предполагает определенное рас-

стояние между X-ом и Y-ом (не соприкосновение) и употребляется в основном для того, чтобы снять представление о каузативных связях или о взаимодействии X-а и Y-а.

Русское слово *близко* может соответствовать английским *near* и *close*. Однако в отличие от *close* оно не употребляется, если X и Y соприкасаются (см. переводы примеров (8–11)). Обычно оно не может непосредственно относиться к наречиям типа *позади*, *сбоку*. Слово *далеко*, однако, иногда так употребляется. Например:

(16) *Ее голос слышался где-то позади.*

3. Рассмотрим теперь pragmaticальные предпосылки выбора слов со значением "расстояние" (X от Y-а или S от Y-а).

Из общих соображений можно утверждать, что если цель сообщения заключается только в том, чтобы локализовать X, наиболее естественно указывать не на его расстояние от Y-а, а на то пространство, в котором он находится. Собранный материал подтверждает это представление. Однако есть условия, при которых слова со значением расстояния используются в высказываниях, имеющих указанную цель.

Одним из таких условий служит отсутствие соответствующего слова, обозначающего местонахождение X-а, или то или иные ограничения в его использовании. Так, в русском языке слова *недалеко*, *вдалеке*, *неподалеку*, *вдали* имеют смысловые и стилистические признаки, ограничивающие возможности их выбора в речи⁴. В результате этого более часто встречаются слова *недалеко*, *далеко*. Например:

(17) *Я живу недалеко от метро "Университет".* Употребление слова *близко* в подобных контекстах возможно, но обычно выбираются пространственные слова.

(18) *Я живу рядом с (около) метро "Университет".*

Далее, наречия типа *близко*, *далеко* используются также, если для говорящего важно не только местоположения X-а, но и длина пути от Y-а (например, говорящий может представить себе, как придется добираться до него адресату речи, см. также предложение (15)). Имеются и отдельные частные ограничения на употребление пространственных слов. Например, если X – часть тела Z, а Y – человек, то при выборе пространственных слов может возникнуть впечатление об отделенности X-а от Z. Например: (20) **Лицо Милли, которое было около меня, дрогнуло, каждая черточка при-*

шла в движение. В большинстве же случаев предлоги и наречия "расстояния" употребляются, если важна именно степень удаленности X- от Y-а. Это может, например, определяться необычностью, странностью или значимостью величины расстояния. При этом часто добавляются усиительные частицы *очень, совсем, very, so, this* и т.д., причем в английском языке, по-видимому, несколько реже, чем в русском.

(21) *Sitting close to the fire with all windows closed ... Thomson was spelling out a story from a Wild West Magazine* (V. Pritchett). 'Сидя совсем близко от огня — в комнате с закрытыми окнами ... Томпсон почти по складам читал какую-нибудь историю из журнала, публикующего рассказы о диком западе'. Замена в этом примере предлога *close to* на *by* изменила бы совсем характер сцены: сообщение показывало бы, что событие "чтение" протекало в уютной атмосфере, создаваемой теплом, идущим от камина. Ср. также *Сидя у камина, он читал какой-то толстый роман*.

(22) *Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза* (Ю. Казаков).

Рассмотрим еще одну предпосылку для указания на расстояние X-а от Y-а, которая особенно существенна для русского языка. Слово *близко* используется, если именно расстояние X-а от Y-а со-здаёт возможность либо для осуществления X-ом или Y-ом некоторого действия, либо для реализации неконтролируемого процесса (увидеть, заметить и т.п.).

(23) *Она сидела близко от меня, и я видел, что она с трудом сдерживает слезы.*

(24) *We stood so close to the woman that he could smell her perfume*. 'Он стоял так близко к женщине, что чувствовал запах ее духов'. В русском языке отсутствие данной предпосылки ограничивает употребления наречия *близко*: так, оно не используется, если имеются два предиката, причем денотат второго не каузирован расстоянием X-а от Y-а, которое задается первой предикативной группой. Например:

(25)**Она сидела близко от меня и (горько) плакала* (трудно представить, чтобы нахождение на близком расстоянии от Y-а создавало основание для слез).

В английском языке такого ограничения нет. Так, можно сказать: *

(26) *She sat close to him and cried* ‘ *Она сидела близко от него и плакала’. Но-видимому, это можно объяснить следующим: в английском языковом узусе ощущение поддержки, связанное с близостью тех, кого любишь, уважаешь, ценишь, в сочувствие которых веришь, становится предпосылкой для выбора слова *close*, см. также:

(27) ... and he stayed close to them as if to claim the protection of some small, forlorn yet powerful innocence (I. Murdoch). ‘ ... и он не отходил от них (букв. оставался близко от них), словно ища защиты под сенью маленькой и слабой, однако и мужественной невинности’. Хотя указанное мироощущение является, вероятно, общечеловеческим, оно непосредственно не отражается в условиях употребления слова **близко** в русском языке.

Таким образом, в группе дистанционных слов русского и английского языков, обнаруживается не полное совпадение как в структурировании частных делений (наличие в английском языке двух слов, приблизительно соответствующих наречию *близко*), так и в pragmatischen условиях.

4. Остановимся теперь кратко на различиях внутри предлогов и наречий, в семантике которых понятие пространства играет ведущую роль, т.е. которые указывают на то пространство или позицию, в которой находится X; расстояние от Y-а выступает здесь как одно из присущих этому пространству или позиции свойств.

Проведенное исследование показало, что слова этой группы и в русском и в английском языках различаются между собой прежде всего в зависимости от способа формирования и выделения пространства⁵. Разделяется прежде всего Y – зависимое членение (т.о. членение пространства в зависимости от релятума) и Y – независимое членение⁶.

В данной статье мы отметим только два случая Y-зависимого членения.

Часть пространства может выделяться из общего пространства только по одному свойству, связанному с Y-ом, а именно по его близости к Y-у. Такое значение имеют, как мы полагаем, слова *около*, *рядом*, *недалеко*, *близ*. Между собой они прежде всего различаются по степени близости к Y-у. Предлог *около* указывает на нахождение в пространстве, которое непосредственно примыкает к Y-у, хотя при этом в большинстве условий употребления

предполагается, что X и Y не соприкасаются. Мы условно называем данное пространство "окрестностью" Y-а. "Окрестность" Y-а – это просто сегмент фигуры типа круга, центром которого является Y. Представление о размере "окрестности" определяется прежде всего величиной Y-а, а также зависит от субъективной оценки говорящего. Слово *рядом*₂ указывает на пространство S, которое непосредственно не примыкает к Y-у, но находится от него на очень маленьком расстоянии. В пользу того, что значение *рядом*₂ предполагает расстояние между S и Y, говорит его способность сочетаться со словом *совсем* (слово, указывающее на примыкающее пространство, не может так употребляться, хотя и компонент "расстояние" еще не обязательно делает данную сочетаемость возможной). Опрос информантов также показывает, что слово *рядом* допускает большую удаленность X-а от Y-а. Ср.:

(28) *Мы играли около дома и Мы играли рядом с домом.* Однако отсутствие объективных границ между "окрестностью" Y-а и следующей за ней пространственной областью приводит к тому, что денотативная отнесенность именных групп с предлогами *рядом с* и *около* часто совпадают.

Слова *рядом* и *около* различаются также по своей грамматической функции: только первое из них регулярно выступает в функции наречия.

(29) *Вдруг он видит совсем рядом съежившуюся фигурку и вздрогивает от неожиданности* (Ю. Казаков) (**Вдруг он видит около ...*) Употребление *около* в функции наречия возможно, по-видимому, только в тех случаях, когда позиция X-а связана с его ролью в том действии, которое осуществляется Y (X может быть адресатом речи или во всяком случае одним из слушателей, соагентом действия). Например:

(30) *Он говорил, а она стояла около, опиралась на стул, и слушала.* В этом случае пространственные позиции, задаваемые словами *рядом* и *около*, не различаются по представлению о расстоянии. Здесь они оба противопоставлены наречию *поодаль*, так что X отдален от основного или основных участников событий по крайней мере шагов на пять и таким образом, не является прямым участником события (*стоял поодаль и слушал*). Различие по расстоянию четко проявляется при сопоставлении *около* и *поблизости*, а также

рядом и поблизости. Ср. *Он живет поблизости от нас и Он живет рядом с нами*. Наречия *поблизости* предполагает довольно большое и абсолютное расстояние и вследствие этого не употребляется, когда речь идет о расположении объектов внутри маленького пространства (например, внутри обычной комнаты).

Пространственная близость X-а к Y-у может рассматриваться как предпосылка для тех или иных функциональных связей (легко дойти, можно использовать, можно быть участником события и т.д.) или для выражения эмоционального отношения. Очень часто те или иные связи задаются контекстом. Однако они могут входить и в семантику самого слова (см., например, сказанное выше о наречии *около*). Большое место информации о функциональных связях занимает в полисемантической структуре предлога и наречия *возле*⁷. Отметим одно из таких значений, которое было характерно для языка XIX века. Оно реализовалось при X-е и Y-е, относящемся к классу людей: предлог *возле* показывал, что X занимает или занял пространственную позицию, примыкающую или почти примыкающую к Y-у, что служит условием для осуществления действия, в котором проявляется то или иное "положительное" отношение X-а к Y-у или которое само по себе служит знаком такого отношения. См. например:

- (31) *Он сел возле нее и взял ее за руку* (Лермонтов) (? *около*)
(31б) Ср.: ? *Он сел возле нее и стал ее отчитывать.*
(31в) ? *Он сидел возле нее и не обращал на нее никакого внимания.*

В английском языке также выделяется группа слов, указывающих на нахождение в пространстве, которое выделяется по признаку близости к Y-у. Сюда, как мы полагаем, относятся слова *near* во втором значении (*near*₂), *beside*, *nearby*, *closeby*. В пользу того, что данные слова указывают на нахождение в пространстве, свидетельствует несочетаемость с *very*, *so*, употребляемость в контекстах, которые логически или психологически не совместимы с акцентированием внимания на расстояние X-а от Y-а. Так, например, подстановка предлога *near*₂ невозможна в контекстах примеров 9, 10, а в контексте примера 8 приведет к другой интерпретации, где *near the snow* будет указывать на местонахождение объекта – возможный перевод ‘около/у сугроба’.

Английские слова, как правило, не различаются между собой по информации о степени близости X-а к Y-у. Так, слово *near* может указывать на пространство, почти примыкающее к Y-у, (при этом X и Y сами не соприкасаются) и на пространство, четко отделенное от него. В результате этого оно может соответствовать и русским предлогам *около*, *у⁸*, и наречиям *поблизости*, *недалеко*, *рядом*. Например: (32) *Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед ...* (Л. Толстой). ‘Levin stood up, took off his coat, sped over the rough ice near the pavilion, and reached the smooth area’.

(33) *We live near the sea* (возможно, на расстоянии километров пяти) ‘Мы живем недалеко/(близко) от моря’.

На такие же разные расстояния могут указывать и наречия *nearby*, *closeby*. Например:

(34) *Is there an inn nearby?* ‘Есть ли здесь поблизости гостиница?’

(35) *Something white glimmered nearby and reaching out his hand Pat touched cold smooth globe of an oil lamp* (I. Murdoch). ‘На столе рядом с ним что-то белело, Пэт протянул руку и нашупал гладкую прохладную поверхность керосиновой лампы’.

Представление о том, почти ли примыкает к Y-у пространство местонахождения X-а или отстоит от него на относительно значительное расстояние, частично зависит от контекста, а частично от наличия или отсутствия других слов, обозначающих более близкое положение X-а к Y-у. При этом основное различие часто определяется другими признаками, несовпадение же величины расстояния может быть лишь следствием этих признаков (см. ниже сопоставление *by* и *near*).

Слово *beside* в одном из его значений (*beside₂*) также может быть включено в рассматриваемую группу. Близость пространственного положения и здесь представлена как условие для функциональных связей. Так, если речь идет о предметах, расположенных около Y-а, слово *beside* в отличие от *nearby* показывает, что предметы были положены в данное место специально с тем, чтобы Y мог ими пользоваться. Ср. пример (35) с примером (36): (36) *He sat alone in his small room with a bottle of whisky beside him* (R. Reinhart). ‘Он сидел один в своей маленькой комнате... Около него стояла бутылка виски’.

5. Другой способ вычленения пространства связан со способностью Y-а формировать разнообразные свойства примыкающего к нему пространства. Так, Y может определять его физические качества. Например, он может быть источником теплового, светового излучения, потока запахов, влаги, что сказывается на свойствах примыкающего пространства. Физические качества пространства в свою очередь могут определять душевную или духовную атмосферу, возникающую в S. Информация о таком типе пространства отражена в семантической системе и русского и английского языков — предлоги *у₂*⁹, *by*. (между ними однако, имеются и некоторые различия, не рассматриваемые здесь) Например:

(37) *In winter you can always come over and sit by the fire* (H. Robbins) ‘Зимой вы можете приходить ко мне и мы будем сидеть у камина’.

При замене на предлоги *near₂* и *около* ослабевает представление о нахождении в особой уютной атмосфере. Все опрошенные (5 из 6 соответственно) отдавали здесь предпочтение выбору *by* и *у*. В некоторых работах отмечается¹⁰, что различие между *near* и *by* может быть связано с величиной расстояния X-а от Y-а. Мы, однако, полагаем, что представление о данном различии может возникать лишь как следствие противопоставления по типу пространства: область, на которой оказывается воздействие Y-а, уже, чем та часть пространства, которая воспринимается как находящаяся на близком расстоянии от Y-а. Кроме того, предлог *by* в отличие от русского *у* лишь в поэтической речи используется для обозначения всей климатической полосы, примыкающей к морю, озеру. Ее обычным обозначением в английском языке служит сочетания *at the seaside*, *at the lake*. Предлог же *by* указывает на область более непосредственного воздействия. Поэтому предложение *We live by the sea* может показывать, что море находится совсем близко, так что оно видно (ср. пример 33). В контекстах другого типа не возникает такого четкого представления о различиях в расстоянии (см. пример 37).

6. В семантической структуре пространственных предлогов представлены разные типы Y-независимых членений. Здесь мы укажем только один — членение на ряды, т.е. выделение одной или нескольких полос пространства между параллельными линиями, кото-

рые в свою очередь могут делиться на позиции. Такой тип членения символизируют модели "X *рядом с* Y-ом" в одном из ее значений (*рядом₁*): она показывает, что X и Y занимают соседние позиции в ряду, причем обращены друг к другу боковыми сторонами или при отсутствии таковых X и Y обращены к наблюдателю (развертывание ряда вширь, а не вглубь). Например: (38) *Наташа положила цветы и села рядом* (Б. Зайцев).

Аналогичное пространственное представление лежит, как кажется, в основе одного из значений предлога *beside – beside₁*, хотя внутренняя форма слова показывает, что вначале значение предлога могло основываться на несколько ином образе, а именно, пространственной позиции, непосредственно примыкающей или почти примыкающейся к Y-у и расположенной с его боковой стороны. Предполагалось при этом, что X в большинстве случаев также обращен к Y-у боковой стороной, т.е. расположение X-а и Y-а при таком представлении фактически совпадает с тем, которое задается значением, основанным на представлении о ряде. Как кажется, постепенно это представление закрепилось в значении *beside₁*. На это указывает то, что в сочетаниях X *beside₁* Y оба объекта рассматриваются как равноправные, т.е. Y не определяет позицию X-а, как, например, в сочетании X *by* Y, и поэтому можно сказать *two graves beside each other (*by each other)*. Кроме того, существуют сочетания *at the side of, by the side of*, которые указывают на расположение X в пространстве, примыкающем к боковой стороне Y-а, или в позиции, непосредственно примыкающей к боковой стороне Y-а. Различие в формировании пространственного представления между русскими *рядом₁* и английским *beside₁* определяют некоторые различия в их употреблении. Английское *beside₁* не может самостоятельно описывать рядную организацию и не существует в форме наречия в отличие от русского *рядом₁*. (38) *И мы просто остались рядом ... и, напряженно улыбаясь, стали смотреть на камеру.* (Ю. Казаков).

В английском языке необходимо упоминание предметов, таким образом расположенных – *beside each other*. Кроме того, в тех случаях, когда пространственная позиция, расположенная сбоку от Y-а, не формируется Y-ом, (вследствие чего нельзя употребить выражения *at (by) the side of*) предлог *beside* может использоваться и при таком Y-е, по отношению к которому лишь определяется по-

зация X-а, но который сам скорее не рассматривается как входящий в один ряд с X-ом. Например:

(40) *She sat beside the window.*

Как отмечали трое из опрошенных информантов, предложение (40) показывает, что X занимает позицию сбоку от окна, так что он не может быть увиден снаружи. Русское *рядом*¹ не имеет такого употребления. Слово *рядом* в предложении *Он сидел (совсем) рядом с окном* может быть интерпретировано лишь во втором значении, т.е. X находился в ближайшем к Y-у пространстве.

Значение, близкое к идею ряда, присущее и модели "X next to Y". В ее семантику входит представление о последовательности, т.е. расположение объектов и/или позиций по прямой линии, имеющей направленность. Эта направленность может определяться как наблюдателем (от наблюдателя и дальше), так и самими объектами (от Y-а к X-у). Допускается двойная направленность (от X-а к Y-у и от Y-у к X-у). При этом несущественно, обращены ли X и Y друг к другу *боковыми сторонами*. Поэтому фраза *He sat next to her* может означать, что X сидел и сбоку, и спереди, и сзади Y-а. При этом Y может выступать только как точка отсчета, но не быть сам элементом ряда *наряду с X-ом*. Например:

(41) *I'd like a seat next to the window* 'Я бы хотела получить место у окна (букв. следующее после окна)'.

Итак, проведенный анализ показывает, что различие между рассмотренными предлогами и наречиями и в русском и в английском языках может определяться местом признаков расстояния и пространства в семантической структуре слова. Слова, в семантике которых признак расстояния является ведущим, несут информацию о том, велико ли расстояние X-а от местонахождения, позиции Y-а или просто – при выпадении признака пространственного положения – о расстоянии X-а от Y-а. Слова с "ведущим" признаком пространства показывают, в каком пространстве находится X (или какую пространственную позицию он занимает). Признак же расстояния при этом входит в характеристику самого пространства (пространственной позиции). Он может выступать с нулевым значением, если выделяемое пространство примыкает к Y-у. Признак расстояния может также характеризовать и само пространство и место X-а внутри этого пространства по отношению к Y-у.

Слова с ведущим признаком расстояния связаны с особыми прагматическими предпосылками употребления, некоторые из которых приобретают "узусный" характер и не совпадают в русском и английском языках.

Различие между локативным и целокативным употреблением наречий расстояния в русском языке определяется контекстом. В английском же языке, по-видимому, это различие отображено в противопоставлении слов *near* (*to*) и *close* (*to*). Последнее выступает в качестве немаркированного члена противопоставления. Различие в значении собственно пространственных предлогов и наречий часто строится на признаках, указывающих на различные способы формирования и выделения пространства. Было установлено различие между некоторыми вариантами Y-зависимого и Y-независимого членения пространства.

Примечания

¹ Под пространственной позицией мы понимаем ту часть пространства, которую непосредственно занимает объект. Пространство нахождения предполагает более широкую область, внутри которой расположена пространственная позиция объекта.

² Данное ограничение в сочетаемости было отмечено Е.А. Яковлевой (Яковлева Е.А. Языковая картина пространства, задаваемая наречиями с семантикой "далеко"/"близко". //Тождество и подобие. Сравнение и идентификация. М., 1990), но связывалось с противопоставлением по признаку "абсолютности/ относительности". Мы полагаем, что противопоставленности по данному признаку нет. Все рассматриваемые слова могут указывать весьма разные величины расстояния или размеры пространства в зависимости от величины самого Y-а и некоторых других факторов. Ср.: *Мы жили тогда около Севастополя* и *Книга лежала около лампы*. Иными словами, величина размера пространства определяется нормой, связанной с ситуациями разного типа. Относительную устойчивость "абсолютного" расстояния предполагают только наречия, связанные с делением наблюдаемого "открытого" пространства на дистанционные пояса (*вдали*, *вдалеке* и т.д.), которые были рассмотрены Е.А. Яковлевой. Однако здесь неизменяемость размера определяется другими признаками.

Кроме того, отмеченное ограничение, как будет показано ниже, не распространяется на все градуальные слова.

3 Предложения типа *Она села рядом с ним* не служат контрпримером, поскольку в данном случае учитывается не траектория движения "от исходной точки P₁ до пункта назначения", а только то, что происходит непосредственно в P₂. При желании отразить в описании и траекторию движения употребляются два члена: глагол движения и глагол пространственного положения: *He came to stand beside her*. 'Он подошел и встал рядом с ней'. Отметим также, что в английском языке слова второй группы могут указывать на некоторый участок пространства, который составляет часть пути: *He passed by the cathedral tower*. (букв. 'Он прошел пространством, примыкающим к башне').

4 Некоторые из них выделены в указанной статье Е.А.Яконлевой.

5 В лингвистической литературе уже отмечалось (*Miller G. Semantics and Syntax: Parallels and connections*, 1985, Cambridge University Press), что значительная часть пространственных предлогов и наречий устанавливает положение одного объекта не прямо по отношению к другому, а опосредованно через помешение его в некоторое пространство. Однако различные типы пространств не выделялись.

6 См. также: *Майер Т.Н., Селиввестрова О.Н. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках* //Сынодаштетилю. Библиотека, 1992, № 3.

7 Слово *возле* отличается от предлога *около* не только по характеру функциональных связей. Так, при некоторых из своих значений оно задает не пространство нахождения X-а, а вводит представление о пространственной позиции, занимаемой им.

8 Предлог *у* в одном из своих значений указывает на пространство, примыкающее к Y-у, и в отличие от предлога *около*, как мы полагаем, обозначает только ближайшую часть этого пространства. Он также задает некоторые дополнительные характеристики выделяемого пространства, которые здесь не рассматриваются.

9 Мы не рассматриваем здесь аргументы в пользу выделения именно особого значения, а не контекстного варианта.

10 *Swan M. Practical English Usage*. Oxford, 1981.

Г.Л. Клепикова

СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
В ДИАЛЕКТАХ КАРПАТСКОГО АРЕАЛА

Внимание исследователей сравнительно-типологических проблем обращено обычно на задачи (и следствия) изучения языковых идиомов, для которых нерелевантен параметр "пространство", — понимаемое в данном случае как реальное физическое пространство (= поддающаяся измерению эмпирическая протяженность)¹, в конечном счете — как территория бытования и функционирования языка, презентированного одной из его форм, а именно территориальными диалектами. Между тем элиминирование параметра "пространство" сводит объяснение общности типологически релевантных признаков (= черт) к единству исторического источника тех или иных идиомов (родственные языки), или к действию языковых универсалий (неродственные языки), или, наконец, к специфичности каждого языка — в кругу родственных и неродственных языков.

Обращение же к пространственному аспекту типологии прежде всего расширяет само "пространство типологических возможностей" (А.Е. Кибрик) и позволяет выявить структурные признаки — применительно не к единичной, частной диалектной системе (= ЧДС)², но к их совокупностям, в том числе и обладающим статусом "диалектный континуум". Это дает возможность изучать такие сферы типологии, недоступные для наблюдения в иных условиях, как ареальная типология (= типология ареалов). Важно также, что учет фактора "пространство", прежде всего такого его компонента, как "маргинальные" ("переходные") говоры обнаруживает несовпадение распространения некоторых типологических признаков

с так наз. "границами языков", которые, как известно, устанавливаются во многом априорно. Наконец, среди причин, объясняющих общность типологических характеристик различных языков, в том числе неродственных, появляется указание на такую, как интерференция языков (*resp.* диалектов).

Очевидно также, что детализация и систематизация типологических характеристик не всегда является конечной целью типологии. Это может быть лишь некоторым предварительным, промежуточным этапом выявления соотношений разноуровневых языковых фактов. Далее результаты сравнительно-типологических изысканий могут быть использованы для решения различных задач, и, в частности, для изучения формирования и функционирования языковых общностей различных типов (гомогенных и гетерогенных), относящихся к классу конвергентных.

Интересным объектом сравнительно-типологического изучения является диалектный континуум в пределах карпатского лингвистического ареала. В последние годы он является объектом специального лингвогеографического изучения в рамках "Общекарпатского диалектологического атласа" (= ОКДА)³. При этом карпатский ареал описывается как гетерогенное лингвистическое пространство, образуемое диалектами близкородственных языков (славянских), отдаленно родственных (славянских и романских) и неродственных (индоевропейских и финно-угорских). Карпатский ареал рассматривается в качестве составной части макроареала, включающего, помимо Карпат, также и зону Балкан.

Многочисленные исследования показывают, что в результате длительных этно-лингвистических контактов и интерференционных процессов в карпатском ареале создались условия для возникновения языковой общности конвергентного типа, реализующейся, например, на лексико-семантическом уровне. Аргументы в пользу существования подобной общности (или, по крайней мере, ее фрагментов) дает, в частности, и ОКДА. Нам представляется, что исследование в Атласе карпатской лексики и семантики в сравнительно-типологическом плане могут быть использованы для решения проблемы "гомогенизации" карпатского лингвистического пространства и моделирования на лексико-семантическом уровне отдельных фаз трансформации суммы генетически гетерогенных диâ-

лектов в диалектный континуум, то есть в совокупность ЧДС интенциально ориентированных на развитие "суперсегментных" отношений и далее — на конституирование языковой общности лексико-семантической раг *excellence*⁴.

Изучение сравнительно-типологических характеристик в диалектном континууме зоны Карпат возможно на двух уровнях. Во-первых, на уровне, доступном непосредственному наблюдению, — речь идет о лексических заимствованиях; при этом они выступают как многократные, перекрестные заимствования, когда их генетический источник, устанавливаемый с помощью этимологии, и источник иррациации в карпатском ареале могут не совпадать. Во-вторых, на уровне "принципов номинации", то есть когда взаимодействие языков (=диалектов) осуществляется на глубинном уровне, в сфере "внутренней формы" (или, по иной терминологии, — "мотивационных признаков")⁵.

I. Сравнительно-типологическое изучение лексики, отраженной в ОКДЛ, подтверждает предположение, высказанное Т.В.Цицьян применительно к языкам "балканского языкового союза", которое допускает организацию структуры словаря языковых общностей конвергентного типа, обладающую высокой степенью синонимичности. При этом одной металексеме соответствует разное число реальных лексем — теоретически от единицы до иногда достаточно большого, превышающего даже число языков, которые образуют данный диалектный континуум⁶. ОКДЛ реализует следующие ситуации.

1) Число реальных лексем соответствует числу языковых групп, представленных в карпатском ареале. Таковы, например, данные о лексемах, выражающих понятие 'огонь': в славянских диалектах отмечены репрезентанты слав. **огнь*, в румынских — *foc*, в венгерских — *tűz* (I, № 56); аналогичный тип ареала, совпадающего с границами языков, представлен и на картах, посвященных названиям 'ежа' (слав. **ѹжъ*, рум. *arici*, венг. *sün* — ответы на в. 524), 'орешника' (слав. **lesъka*, рум. *alună*, венг. *togymagvakor* — ответы на в. 404), понятию 'родить (об овце)' (слав. **kotiti sg*, рум. — *făta*, венг. *ellik* — ответы на в. 616) и т.д. Впрочем, подобный тип ареалов представлен сравнительно редко — в силу особенностей программы-вопросника, ориентирован-

ного на фиксацию результатов интерференционных процессов в зоне взаимодействия родственных и неродственных диалектов. Однако в естественных условиях функционирования языков в зоне Карпат подобная ситуация имеет высокую частотность, поскольку она соответствует принципиально гетерогенному характеру лингвистического пространства.

2) Число реальных лексем меньше числа языковых групп в карпатской зоне – в случае действия процессов заимствования, непосредственно во все языки ареала или опосредованно, когда заимствованный элемент распространялся в зоне постепенно, от языка к языку. Упомянем здесь лексемы, выражающие некоторые понятия, реалии, получившие распространение в ходе таких процессов. Ярким примером подобных заимствований, осуществлявшихся параллельно с усвоением "новых" реалий, является терминологическая группа пастушеской лексики. Ср., например, общие для зоны Карпат обозначения 'пастушеской постройки на пастбище, укрытия' (география лексемы *+koliba* – I, № 29), 'узкого прохода для овец в загоне' (лексема *+strUnGa* – I, № 31), 'вещества, которым подквашивают молоко' (лексема *+klAG* – III, № 39), 'переваренной сыворотки' (лексема *+Entica* – III, № 34), 'специального подсоленного творога' (лексема *+brYnZa* – III, № 41) и под. В случае, если заимствования вытесняют исконные элементы частично, по диалектам, общее число реально функционирующих лексем увеличивается. Ср. усвоение германизма *frištik*, *frakšuk* и др. 'завтрак' венгерскими, словацкими, некоторыми украинскими и польскими говорами – наряду с сохранением славянских форм *s'na'daňe*, *sni'danok*, венг. *reggeli*, рум. *prfnz* (ОКДА III, № 2) и под.

3) В ОКДА преобладают случаи, когда число реально употребляющихся лексем больше числа языковых групп (и даже отдельных языков), распространенных в зоне Карпат, – как за счет высокой степени дифференциации соответствующих диалектов, так и из-за многочисленных маргинальных заимствований из соседних языков. Ср., например, обозначения для 'щурка в поясе (крестьянских) штанов' – польск. *poutigek*, 'pasek, морав., слв. 'či:rek, 'snurek, слв. 'hačnik, 'motu:z, укр. 'hačnyk, uč'kig, 'motu:z, рум. *brădăigr*, 'acs, възъц, betelie, бајера, венг. 'maz:aq, 'χελ'-τεζ:əg, 'pečrili (II, № 13), названия 'жениха' – польск. 'młody' rza, 'ukr.

moło 'dyi, слвц. *'mla: dī . zat'*, морав., слвц. *'ženix*, рум. *mire*, *ginere*, *jine*, венг. *wölegeny* и др. (III, № 59); см. также выражения понятия 'сбивать масло' – польск. *robić*, морав. *'stlu:kat'*, слвц. *'mu : t'it'*, *'ubit'*, укр. *koto'tyty*, *'byty*, *'pravuty*, *'ro'byty*, венг. *'karpal*, *'zurbol*, рум. *băte*, *aläge*, *făce*, *scăte* и др. (II, № 34) и т.д.

Среди подобных примеров особый интерес представляют такие, которые демонстрируют тенденцию к формированию особого типа микроареалов, включающий диалекты разных языковых групп. Так, в названиях 'мамалыги' отмечаем: *+mamatYga* и под. (рум., укр., польск.), *+tokan(a)* – в рум., укр., *+kuleša* – в рум., укр., польск., слвц., *polenta* – в морав., слвц. (III, № 9); в названиях 'внебрачного ребенка, мальчика' представлены: *+kopll* (рум., укр., слвц., ю.-вост.польск.), *băstruk* (укр., рум.), *'fat: ju*, *'foachiu* – (венг., рум.), *'ben'kart*, *'bukart*, *'parxant* (польск., морав., слвц.) и др. (III, № 50); названия 'кочерги' соотносятся с репрезентантами слав. **kočerъga* (укр., слвц., ср. и рум. *cociorvā*) и с рум. *vătrai* (откуда укр., слвц. *vatralka* (I, № 63).

Таким образом, из рассмотрения ареально-типологических данных, касающихся карпатской лексики, следует, что для диалектного континуума в целом действует тенденция к минимизации – по отношению к числу представленных в нем языковых групп – набора реальных лексем, соответствующих одной мета-лексеме (в предельной ситуации – одна лексема), что находит отражение в типе ареалов, объединяющих диалекты различных языков, в том числе и неродственных. Это в свою очередь может свидетельствовать о достаточно высокой степени "гомогенизации" карпатского лингвистического пространства,

II. Представляется важным остановиться еще на одной сфере лексико-семантических исследований, где сравнительно-типологические, собственно – ареально-типологические – подходы демонстрируют значительную эффективность. Речь идет о сфере принципов номинации, действие которых зафиксировано в карпатском диалектном континууме. В материалах ОКДА представлены многочисленные случаи расширения ареала использования того или иного мотивационного признака (= "внутренней формы"), лежащего в основе номинации, за пределы диалектов одной языковой группы.

Так, в карпатской зоне (ее славяно-румынский сегмент) используется мотивационный признак «дно» для обозначения 'крышки (деревянного) сосуда' — с семантическим сдвигом 'низ' ↔ 'верх': 'дно сосуда' ↔ 'крышка~';ср. польск. *'dełko*, слвц. *'dię: nko*, *'dię: nce*, морав. *'de: nko*, укр. *'deńce*, *'deńko*, а также рум. *fund*, *fundi'șor*, *fundurēlī*(II, № 35). Несмотря на то что в зоне и на-звания 'уздечки', базирующиеся на "внутренней форме" 'голова' (→ «то, что на голове»); ср. польск. *'oguci:* морав. *'ohla:f* зап.-слвц. *'ohla:fska*; *'ohlacec*, укр. *hotōvač*, *pahotōvnyk*: что корре-спондирует с румынскими формами *сărăjăpă*, *сărăjel* (< *cap* 'голова': лат. *caput*). Пример расширения ареала использования моти-вационного признака 'холод' дают и названия 'холодца', ср. слвц., укр. *studenina*, *studenec* и др., ю.-польск. *stuzenina* ~ рум. *răci-tură* (< *a răci* 'охлаждать, охладить', ср. лат. **reco*g) (III, № 22).

Общность мотивационных признаков может быть следствием интерференции, взаимовлияния и далее — калькирования, но мо-жет быть и доказательством определенной стадии формирования общего для карпатского лингвистического пространства кор-пуса "внутренних форм" (= мотивационных признаков), то есть го-ворить о реальном проявлении формирования и функционирования языковой общности конвергентного типа.

Сравнительно-типологическое изучение лексико-семантиче-ских явлений, учитывающее фактор пространства, позволяет моделировать процесс формирования подобных общностей прежде всего в микрозонах, где осуществлялись интенсивные взаимодей-ствия языков различных групп, и последовательно изучать этапы интеграции изначально гетерогенного диалектного континуума.

Примечания

¹Клепикова Г.П. Лингвистическое пространство и организация семантических структур // Балто-славянские исследования. 1985.

М., 1987. С. 109.

² Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962. С. 8, 9–12; Аванесов Р.И. Описательная диалектология и история языка//Славянское языкознание. V Межд. съезд славистов. Доклады

советской делегации. М. 1963. С. 296 и сл.; Калнынъ Л.Э. Диалектологический аспект проблемы "язык" и "диалект" // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз. 1976, № 1. С. 43 и сл.

³ О результатах работы над ОКДА см.: Проблемы дифференциации славянского диалектного ландшафта. Доклад к XI Межд. съезду славистов. М., 1993.

⁴ Калнынъ Л.Э., Клепикова Г.П. К вопросу о значении многоязыковых атласов для изучения славянского диалектного континуума // ВЯ, 1989, № 3. С. 99–100.

⁵ Клепикова Г.П. Балкано-карпатская специфика в сфере «внутренней формы» слова: возможности интерпретации // Образ мира в слове и ритуале. М., 1992. С. 125.

⁶ Цивъяи Т.В. Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979. С. 262–263.

Легенды к картам

Карта 1. Названия ‘огня’: 1 репрезентанты слав. **ognь*, 2 *foc*, 3 *tūz*:

Карта 2. 1 +*kollba* ‘пастушеская стоянка на пастище, укрытие’, 2 +*strUnGa* ‘узкий проход для овец в загоне’, 3 +*brlnZa* ‘Специальный вид творога’, 4 +*kL'AG* ‘вещество, которым подквашивают молоко’, 5 +*Έntica* ‘(переваренная) сыворотка’.

Карта 3. Названия для действия ‘сбивать масло’: 1 *robīć*, 2 *robūty*, 3 *kototyty*, 4 *stlu:kat'*, 5 (a) *alége*, 6 (a) *bate*, 7(a) *face*, 8 *kērpkł*, 9 *'zurbol*, 10 (a) *scoate*, 11 *pravyty*.

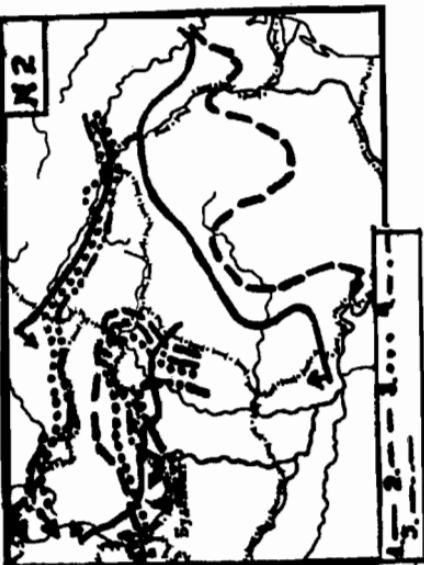
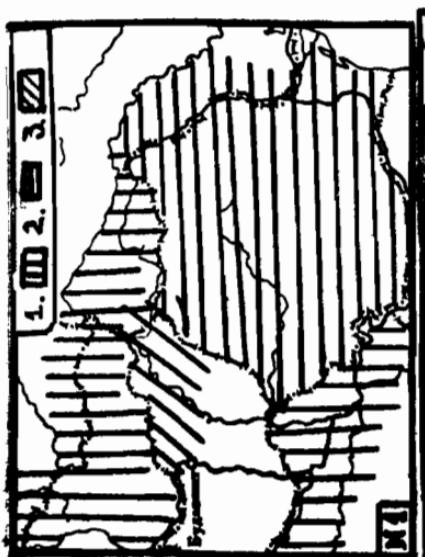
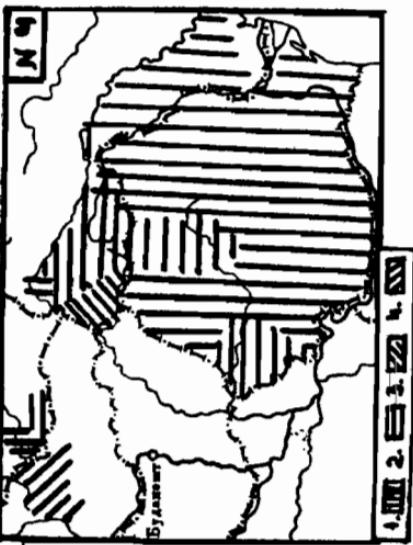
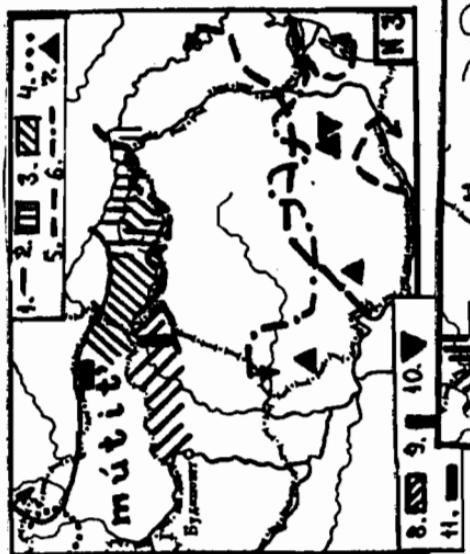
Карта 4. Названия ‘мамалыги’: 1 +*mamallga*, 2 +*kuleša*, 3 +*tokan(a)*, 4 +*pOlenta*.

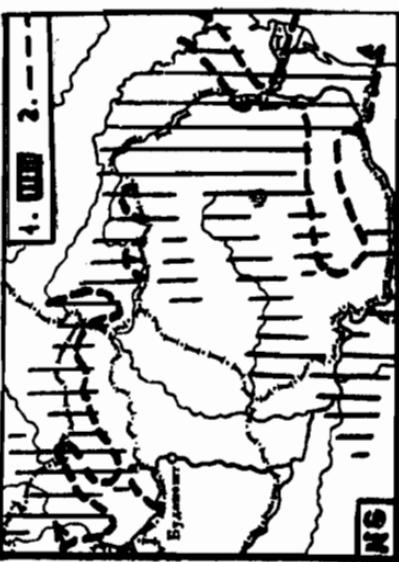
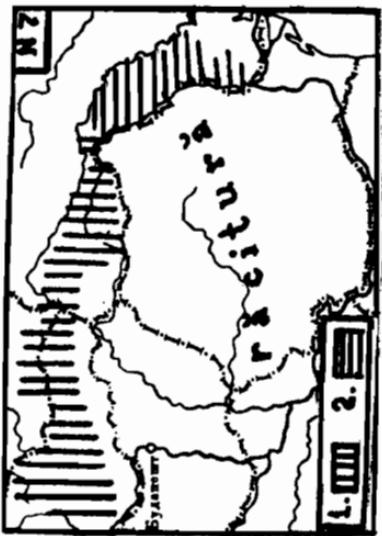
Карта 5. Названия ‘кочерги’: 1 репрезентанты слав. **kočer̥ga*, рум. *cocioră*, 2 *vatrpi*, *vatralka*.

Карта 6. 1 названия ‘уздечки’ с “внутренней формой” ‘голова’,

2 названия ‘крышки сосуда’ с “внутренней формой” ‘дно’.

Карта 7. Названия ‘холодца’: 1 репрезентанты слав. **stud-*, 2 *rāciturā*.





Г.К. Венедиктов

К СЕМАНТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ПАРНЫХ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ
В ЛИТОВСКОМ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Термином "глаголы движения" в грамматике славянских языков обычно охватываются, как известно, не все глаголы, обозначающие перемещение в пространстве, а лишь небольшая устойчивая структурно-семантическая группа парных глаголов, соотносительных по своему этимолого-морфологическому строению и общей семантике — характеру выражаемого ими движения. Это однородные глаголы типа русск. *нести* — *носить*, *везти* — *возить*, польск. *niesć* — *posić*, *wieźć* — *wozić*, чеш. *néstí* — *nosítí*, *jeti* — *jezdítí* и др. Почти все такие пары образуются однокорневыми глаголами, которые различаются чередованиями в корне и суффиксальным оформлением. Лишь одна пара несет в славянских языках супплетивный характер: русск. *идти* — *ходить*, польск. *iść* — *chodzić*, чеш. *jítí* — *chodítí*. Количество соотносительных пар глаголов движения и их состав в славянских языках не совпадает, хотя во всех них выступает одна и та же "стержневая" группа. Это прежде всего *нести* — *носить*, *везти* — *возить*, *вести* — *водить*, *лететь* — *летать*, *идти* — *ходить* в русском и их соответствия в других славянских языках. Общее же число парных глаголов разными авторами указывается разное. Так, в академической "Русской грамматике" таких пар для русского языка указано 18: *бежать* — *бегать*, *брести* — *бродить*, *вести* — *возить*, *вести* — *водить*, *гнать* — *гонять*, *гнаться* — *гоняться*; *ехать* — *ездить*, *идти* — *ходить*, *катить* — *катать*, *катиться* — *кататься*; *лезть* — *лазать*, *нести* — *носить*, *нестись* — *носиться*; *плыть* — *плавать*, *ползти* — *ползать*, *тащить* — *таскать*, *тащиться* — *таскаться*¹. Согласно А.В. Исаченко, такого

рода пар в русском 17: он не включает в их число пару *брести* – *бродить*, поскольку они, по его мнению, семантически не соотносительны².

Объединяемым в группу соотносительных парных глаголов движения в славянских языках свойственна семантическая особенность, заключающаяся в их противопоставлении по признакам характера направления движения (однонаправленность/неоднонаправленность) и его кратности/некратности. В существующей литературе, правда, имеются разные определения семантических различий между образующими пары глаголами, но оба эти признака в них так или иначе отмечаются. Такое семантическое противопоставление присуще парным глаголам движения в современных восточно- и западнославянских языках³. В южнославянских языках картина иная. В сербохорватском, например, существовавшая ранее система соотносительных пар глаголов движения разрушена: одни из образующих пары глаголов утрачены (*ићи*, *нести*, *вести*, *ходить*, *јездити*, *бегати*), сохранившиеся оба глагола других пар разошлись в лексических значениях и уже представляют собой семантически не соотносительные лексемы (*вући* ‘тянуть, тащить, волочить’ и *влачити* ‘бороновать, чесать, вытягивать’), утрачены оба глагола прежних пар (*лести* – *лазити*, *плити*/*плути* – *плавати*) и лишь отдельные пары сохраняются как “пережиток старых отношений” (*пузити* – *пузати*)⁴. Сходная картина наблюдается и в болгарском, где одни из глаголов полностью или почти полностью вышли из употребления (*бежа*, *веда*, *ляза*, *неса*, *ина*), другие, сохраняя формальную пару, разошлись в лексических значениях и семантически теперь не соотносительны (*ида* несов.в. ‘приходить’, *ида* сов.в. ‘уйти’ и *ходи*: ‘идти, ходить’) или лексически совпали (*плувам* и *плавам*)⁵.

Обратимся теперь к парным глаголам движения в литовском. Наличие в нем таких глаголов, представляющих собой точные этимологические соответствия славянским, в литературе отмечалось неоднократно, однако специального семантического анализа их, в отличие от славянских, не проводилось. Отражением этого служит тот факт, что в фундаментальной “Грамматике литовского языка”, изданной в начале 70-х годов Литовской академией наук, группа парных глаголов движения как особая лексико-семантическая или

лексико-грамматическая не выделяется, хотя в числе "нескольких более мелких семантических групп" бесприставочных предельных глаголов указывается и группа "глаголов движения, обозначающих переход с какой-либо целью из одного места в другое", которая иллюстрируется глаголами, составляющими один из рядов интересующих нас глаголов (*bėgti* 'бежать', *eiti* 'идти', *lėkti* 'лететь' и др.), и глаголами, такого ряда не составляющими (например, *gr̄žti* 'идти обратно', *vykti* 'отправляться в путь' и др.)⁶. В другом месте этого труда в числе глаголов несовершенного вида отмечаются и глаголы движения, о которых сказано, что они, как глаголы несовершенного вида, также могут быть и однократными, и многократными, однако различие между ними по признаку односторонности/неподобранности движения здесь тоже не констатируется⁷. Не представлены интересующие нас парные глаголы движения в качестве особой группы и в "Грамматике литовского языка", изданной в середине 80-х годов на русском языке, хотя такие глаголы в ней упоминаются и приводятся в ряду "нескольких лексико-семантических групп непереходных глаголов" и "итеративных глаголов"⁸. Из обеих "Грамматик", таким образом, нельзя заключить о характере семантического соотношения между литовскими парными глаголами движения, корреспондирующими с соответствующими глаголами в славянских языках.

Несколько больше информации дают сопоставительные грамматики литовского и русского языков, в которых прямо указывается на наличие в литовском пар, соответствующих русским, во-первых, и отмечается, хотя и недостаточно четко и в самой общей форме, тождество их семантического противопоставления, во-вторых. Так, К. Мустейкис в "Сопоставительной морфологии русского и литовского языков", отметив, со ссылкой на А.В. Исащенко, наличие в русском 17 пар глаголов движения типа *бежать – бегать*, пишет: "В литовском языке, кроме 17 соответствующих аналогичных пар глаголов, имеются еще две", а именно *br̄sti – braižioti* 'двигаться по воде, грязи, по тонкому или чем-то заросшему пространству' (русск. *брести – бродить* имеют иное значение) и *slinkti – slankioti* .(их русские соответствия *двигаться и склоняться*: "в пару, конечно, не входят")⁹. Согласно К. Мустейкису в литовском представлено, таким образом, 19 пар, анало-

гичных русским парам типа *нести – носить*. В определении семантических различий между коррелятами русских пар К. Мустейкис следует А.В.Исаченко, констатируя "направленность движения" как "основной признак противопоставления" у глаголов типа *бежать* и "отсутствие данного значения в глаголах типа *бетати*", которые, однако, наряду с этим "обладают ярким значением повторяемости действия"¹⁰. Очевидно, что такое же семантическое различие усматривает К. Мустейкис и между глаголами "аналогичных пар" в литовском, хотя прямо об этом он не говорит, а лишь подчеркивает, что "для нас (автора книги или ее читателей? илиносителей литовского языка вообще? – Г.В.) очень важным является и факт наличия аналогичных пар в обоих языках, и особенно то, что в пределах несовершенного вида в русском языке имеются такие пары, один член которых обозначает повторяемость действия, а другой лишен этого значения, но не относится к совершенному виду"¹¹. Необходимой ясности в семантическую характеристику парных глаголов движения в литовском, ожидаемой из констатированной автором цитируемого труда аналогии с русскими парами, приведенные слова, кажется, не вносят.

Менее определенные суждения на этот счет находим в учебном пособии по сопоставительной морфологии русского и литовского языков Ю. Эльзютаса, в котором отмечается, что "в литовском языке имеются соответствия тех же глаголов", какие есть в русском (а таковых здесь, по его мнению, 14 пар, к которым в литовском добавляется также пара *slinkti* – *slankiaoti*)¹². О семантике русских пар глаголов Ю. Эльзютас пишет, что "это глаголы моторно-искратного (одноразового) и моторно-кратного (повторяющегося) перемещения в пространстве"¹³. По-видимому такое же семантическое противопоставление он усматривает и в литовских парах глаголов движения.

Кроме неясно выраженного семантического соответствия между глаголами движения в литовском, недостатком в характеристике их в цитированных трудах является и то, что в них по существу не называется весь список таких пар, едва ли очевидный для читателей-литовцев и далеко не очевидный для многих других читателей. Между тем уже сам перечень парных глаголов движения в литовском показал бы, что состав их здесь отличается от

аналогичных пар в русском не только наличием в нем пары *slinkiti* – *slankiatи*, указываемой К. Мустейкисом и Ю. Эльзютасом, но и отсутствием в нем пары; соответствующей русской *ехать* – *ездить*. Лит. *važiuoti*, "совмещает" значения обоих русских глаголов ('ехать' и 'ездить') и не имеет парного коррелята, при этом значения 'ехать верхом' и 'ездить верхом' (на лошади и др.) в литовском передаются глаголом *jati*, который, как и *važiuoti*, также не имеет парного коррелята.

Не ставя здесь задачи установления полного и точного списка парных глаголов движения в литовском языке, соотносительных по семантическим признакам некратности/кратности и односторонности/ненаправленности движения, мы обращаем только внимание на само наличие такого рода соотносительности в литовском и в подтверждение этого ниже приводим необходимый материал. Точное количество семантически соотносительных парных глаголов в литовском пока указать затруднительно. Для этого необходим специальный анализ большого собрания текстовых примеров, без которого судить о семантической природе интересующих нас глаголов неносителю литовского языка было бы весьма опрометчиво. Дело в том, что толковые словари литовского языка, в отличие, например, от русских, обычно указывают лишь соотношение глаголов по признаку некратности/кратности, но не указывают на их корреляцию по признаку характера направления движения. Парных же глаголов движения, соотносимых словарями по признаку некратности/кратности действия в литовском очень много, во всяком случае гораздо больше, чем парных глаголов движения в русском и других славянских языках, но толкования их значений и иллюстративный материал в словарях не позволяют достаточно уверенно судить об их соотношении и по признаку односторонности/ненаправленности движения. К тому же и количество самих глаголов, обозначающих перемещение в пространстве, в литовском, кажется, гораздо больше, чем, например, в русском¹⁴.

В качестве исходной базы, вполне достаточной для последующей семантической характеристики парных глаголов движения в литовском сопоставительно с русским и другими славянскими языками, где такие пары существуют, мы следуем здесь – с извест-

ными коррективами – за К. Мустейкисом и Ю. Эльзютасом и принимаем, что в литовском есть такие пары глаголов движения, которые имеют, за редкими исключениями, этимологически те же корни, что и в славянских языках, и различаются, как и в славянских, чередованиями в корне и, в отличие от славянских, большей суффиксальной вариативностью глаголов одного из коррелятивных рядов. Таковы пары *bristi* ‘брести’ – *braidžioti* ‘бродить’ и *braidyti* ‘то же’ (ср. приведенное выше замечание К. Мустейкиса о различии лексических значений этих глаголов и русск. *брести* – *бродить*), *bėgti* ‘бежать’ и *bėgiati* ‘бегать’, *nešti* ‘нести’ – *nešiati* ‘носить’, *vesti* ‘вести’ – *vedžioti* ‘водить’, *vežti* ‘везти’ – *vežiati* ‘возить’, *lėkti* ‘лететь’ – *lekiati* ‘летать’ и *lakiati* ‘то же’, *lipsti* ‘лесть’ и *laipiauti* ‘лазить’, *l̄isti* ‘лесть’ – *landžioti* ‘лазить’ и *landyti* ‘то же’ (ср. русск. *лесть* – *лазить* и *лазать*), *skriсти* ‘лететь’ – *skraidžiati* ‘летать’ и *skraidiyi* ‘то же’, *slinkti* ‘двигаться; ползти’ – *slankiauti* ‘двигаться; ползть’ и *slankyti* ‘то же’, *šliaužti* ‘ползти’ – *šliaužiati* ‘ползать’ и *šliaužyti* ‘то же’, *plaukti* ‘плыть’ и *plaukiati* ‘плавать’ и *plaukyti* ‘то же’, *ginti* ‘гнать’ – *gainioiti* ‘гонять’, *tempti* ‘тащить’ – *tampyti* ‘таскать’, *vilkti* ‘тащить’ – *valkiati* ‘таскать’, а также супплетивная пара *eiti* ‘идти’ – *vaikščioti* ‘ходить’ и *vaikštyti* ‘то же’.

Отметим попутно, что такого же рода пары глаголов движения, в большинстве своем этимологически корреспондирующие с литовскими и русскими, представлены и в латышском: *nest* ‘носить’ – *nēsāt* ‘носить’, *vest* ‘вести’ – *vadāt* ‘водить’, *skriet* ‘лететь’ – *skraidēt* ‘летать’ и др.¹⁵. Любопытно, что в латышском, как в литовском и в славянских языках, значения ‘идти’ и ‘ходить’ передаются супплетивными глаголами – *iet* и *staigāt*. Такое морфологическое своеобразие в выражении одного из “ведущих” способов передвижения в пространство в этих языках весьма примечательно и заслуживало бы специального изучения.

Обратимся теперь к семантической характеристике парных глаголов движения в литовском языке, которая ограничивается здесь только определением различий по признакам некратности/кратности и односторонности/ненаправленности движения.

Немного дают для семантической характеристики парных глаголов движения в литовском языке в интересующем нас аспекте

толковые словари литовского языка. Обычно глаголы типа *nesiat*-*t*, даются с пометой "кратный (литеративный, повторительный) глагол" с отсылкой к соотносительным глаголам типа *nešti*. В однотомном толковом "Словаре современного литовского языка" (далее DLKŽ)¹⁶, например, такая помета указана для глаголов *bėgioti*, *braidyti*, *nešioti*, *vežiati*, *laipiati*, *landyti*, *plaukyti*, *skraidžioti* и *skraiđyti*, *šliaužioti* и *šliaužyti*, *slankioti*, *tampyt*, соотносимых данным словарем по названному признаку с глаголами соответственно *bėgti*, *bistti*, *neštū*, *vežtū*, *lipsti*, *lėstū*, *plauktū*, *skristū*, *šliaužti*, *slinkti*, *tempsti*, но ее нет при однотипных глаголах *gainioti*, *vedžioti*, *lekiati*, *vaikščioti*, а *valkioti*. дан с пометой "каузативный". При этом важно иметь в виду, что фиксируемая словарями, хотя и непоследовательно, соотносительность между парными глаголами по признаку некратности (в словарях впрочем специально не отмечаемой) и кратности действия /указываемой/ пометой "кратный (повторительный) глагол"/, распространяется не на всю совокупность их лексических значений, а только на часть этих значений. Глагол *nešiat*, например, с пометой "кратный" указан к *neštū* только в его основном значении 'взять с собой доставлять из одного места в другое', но не соотносится по этому признаку с *neštū* в лексических значениях 'гнать', 'распускать, распространять'. Подобное соответствие по признаку кратности/некратности действия фиксируется в DLKŽ для некоторых значений также и других глаголов движения. Такое положение в семантическом соотношении части значений парных глаголов движения характерно, как известно, и для русского и других восточно- и западнославянских языков. Но некоторые глаголы в литовском, согласно DLKŽ, например, *bėgti*, *vežti*, как кратные соотносительны со своими коррелятами во всех значениях. Насколько соответствует реальному соотношению лексических значений этих глаголов по рассматриваемому признаку данная констатация DLKŽ, согласно принятому в нем принципу фиксации такого рода соотношения, сказать трудно. По-видимому, картина здесь несколько упрощена.

В целом создается впечатление, что в DLKŽ и в других словарях литовского языка достаточно четко, хотя и далеко поподробительно между глаголами типа *neštū* и *vešioštū* устанавливается

семантическое соотношение по признаку некратности/кратности действия.

Этот же признак как отличительная семантическая особенность глаголов типа *nešiati* сравнительно с глаголами типа *neši* отмечается и в грамматических описаниях литовского глагола¹⁷. Заметим также, что именно признак некратности "(один) раз" ("kartą") и кратности "не (один) раз" ("ne kartą") Э. Якайтене рассматривает как один из семантических признаков возможного дихотомического семантического деления глаголов движения в литовском языке – *bėgti, skristi, plaukti*, с одной стороны, и *bėgiati, skraidiyi, plaukiati*, с другой¹⁸.

Что касается соотношения по признаку односторонности/неодносторонности, столь характерного для парных глаголов движения в русском и других славянских языках, то эта семантическая оппозиция, свойственная и парным глаголам движения в литовском, в словарях этого языка остается, за редкими исключениями, почти не замеченной и как бы не существенной. Показательна в этом отношении семантическая характеристика данных глаголов в DLKŽ. Толкования значений глаголов типа *nešti* в этом словаре не содержат прямых указаний на выражаемые ими движения в каком-либо одном, определенном направлении, а в толкованиях значений глаголов типа *nešiati* указание на движение не в одном, а в разных направлениях ("туда-сюда" и т.п.) встречается лишь спорадически, как бы случайно, без особой, по сравнению с другими значениями этих же глаголов, семантической мотивации, которой вызывалась бы необходимость специально отметить данный характер направления движения и за которой бы просматривалось регулярное семантическое соотношение по этому признаку составляющих данные пары глаголов.

В отличие от выражаемого глаголами типа *nešiati* признака кратности действия, неоднократно отмечаемого и в грамматических трудах разных авторов, признак неодносторонности движения как специфическая особенность их семантики вне словарей фиксируется редко. А. Гудавичюс, например, отмечает, что *vaikščiat* отличается от *eiti* "дополнительной семой" 'повторность или разносторонность движения' (курсив наш. – Г.В.)¹⁹.

Рассмотрим теперь парные глаголы в литовском языке в том же семантическом плане, в каком обычно характеризуются соот-

ветствующие парные глаголы в русском и других славянских языках, где они сохранились, а именно — как соотносятся они в выражении односторонности/неодносторонности и нескратности/кратности движения. За недостатком места здесь приводим лишь минимальное количество иллюстративных примеров с разными типами контекстов, из которых достаточно ясно усматривается различие семантики глаголов типа *nešti* и *nešioti*. Но той же причине дается перевод не всего примера, а лишь того его фрагмента, в котором употреблен интересующий нас глагол.

При выражении движения, совершающегося в конкретный момент времени как разовое, неповторительное, глаголы типа *nešti* всегда обозначают движение одностороннее, а глаголы типа *nešioti* — движение неодностороннее. Ср. следующие примеры на пары глаголов:

Bėgti — *bėgioti*

Negaišdamas perėjau sodą ir nespėjau pro vartelius pasukti į pievą, matau: pagal žabinę tvorą bėga pasilenkusios mergaitės (P.Cvirka) — "...вижу: вдоль забора бегут согнувшись девочки" и

Aš supratau kad lakūnas nori užmušti ją /mergaitę/ ir vaikosi kaip grobuonis auką. Mergaitė jau nebemosavo rankutėmis. Ji mažais žingsneliais bėgojo žole tarp gėlių (A.Bauža) — "...Она /девочка/ бегала маленькими шажками по траве среди цветов".

Neštī — *nešioti*:

Vainorius tuoj grįžo ir atsinešė dubenį, pilną korių. Kitoj rankoj nešė lėkštę, išmargintą įvairių spalvų gėlėmis, kokių gamtoje dar nei nera. Šalia jo ējo anūkas ir nešė sėtuvėlėj agurkus ir peilius (V.Krėvė) — "... в другой руке нес ложку..." и

Valandėlę ji /Marija/ stovėjo anapus durų, atsišliejusi staktos, paskui, matyt, nusisėlioušičiusi ašaras, skubiai nuėjo į virtuvę. O jau netrukus vėl nešiojo kavą po kambarius (A.Bauža) — "... И уже вскоре снова носила кофе по комнатам".

Skristi — *skrai dyti*

Lėktuvas kaip didžiulis paukštis pakilo aukštyn, nulėkė horizonto link ir, apsukęs ratą, galingai uždamas motoru, turtum krisdamas, skrido atgal (A.Bauža) — "... /Самолёт/ мощно ревя мотором, как будто падая, полетел (буквально: летел) назад" и

Paskui dusliai sugriaudėjo, atrodė, kad ateina audra, bet dungus buvo giedras, aukštai, kap ir ankščiau, skrai dė smailiasparnės kregždės (A.Bauža) — "... высоко, как и раньше, летали острокрылые ласточки".

Eiti – vaikščioti.

Išgirdau sunkius žingsnius – vachmistras éja artyn prie kranto (A. Bauža) – "... Я услышал тяжелые шаги – вахмистр шел ближе к берегу" и

Vakar jie taip pat, kaip ir šiandien, sédéjo ant tos uolos, pas-kui dienq vaikščiojo palei žlanką ir klausési tingios bangos ošimo (A. Bauža) – "... потом (весь) день ходили вдоль залива и слушали шум ленивой волны".

Lėkti – lekioti.

Vainorius atsargiai, kad nesutrintų kurios, atémé nuo avilio paklotę ir nukréte bičiuks žemyn. – Sakiau, nesnauskite. Dabar teks lėkti avilin (V. Krèvè) – "... – Я же сказал, не дремлите. Теперь придется лететь в улей" и

Senis apsidairė. Pakėles galvą, parodė pirštų kregždes, kurios aukštai, aukštai lekiojo, maudësi melynose padangių gelmëse (V. Krèvè) – "... /Старик/ Подняв голову, показал пальцем на ласточек, которые высоко, высоко летали, купались в синих глубинах поднебесья".

Приведенные примеры иллюстрируют семантическое различие в характере направления движения, свойственное литовским глаголам типа *nešti* и *nešioti* в ситуациях, когда обозначаемые ими действия совершаются в определенный момент времени (не только в момент речи) как действия конкретные, разовые, не повторительные. То, что данное различие – особенность семантики самих этих глаголов, и по обусловленное контекстом видоизменение возможного общего для них значения, доказывается в частности невозможностью их взаимозамены без изменения характера обозначаемого движения в допускающих такую замену контекстах. Так, если в приведенном выше примере глагол *éjo* заменить на соотносительный с ним *vaikščiajo* (а контекст такую замену в принципе допускает), то общий смысл высказывания в целом и характер обозначаемого в нем движения в частности изменится: "Я услышал тяжелые шаги – вахмистр ходил ближе к берегу", т.е. "...вахмистр (уже несколько, много раз) ходил ближе в берегу реки". Литовское наречие *artyn* 'ближе', указывающее место "куда?", кажется, не допускает здесь употребления формы прошедшего времени *vaikščiaja* в значении 'ходил туда-сюда, в разных направлениях'. Возможная же замена именю этой формы на *éja* в приме-

ре с *vaikščiojo* привела бы к очевидному изменению обозначаемого глаголом конкретного движения в определенный момент времени "ходили (туда-сюда, в разных направлениях) вдоль залива" на движение строго одностороннее вдоль залива — "весь день шли вдоль залива".

В словарях и грамматических описаниях отмечается, что, как уже сказано выше, в ряде своих лексических значений глаголы типа *nešioti* отличаются от парных коррелятов типа *neštis* признаком кратности действия. Однако тот факт, что глаголы типа *nešioti*, как только что было показано, выражают и действие конкретное (разовое, неповторительное), свидетельствует, на наш взгляд, о не совсем точной, во всяком случае неполной, фиксации реально существующего между ними общего семантического противопоставления. Кроме того, указываемое словарями соотношение данных глаголов по признаку кратности действия с определенными значениями глаголов типа *neštis* не совсем точно и в том плане, что кратность действия, выражаемая глаголами типа *nešioti*, по существу охватывает только односторонние движения, обозначаемые глаголами типа *nešti*, но, согласно словарям, она, строго говоря, не охватывает неодносторонние движения, поскольку такого рода движения глаголы типа *neštis* обозначать не могут. Между тем глаголы типа *nešioti*, как и *nosim* и др. в русском, свободно обозначают кратные (повторительные) движения как односторонние, так и неодносторонние. В подтверждение этому приведем по два примера такого их употребления. Ср.:

а) Повторительное одностороннее

— ... Dabar vasara, bilietai pigešni, ir mums reikės dažniau *vaikščioſi* į kiną (A. Rauža) — "... и нам чаще придется ходить в кино";

Jau antrus metus slaugo jis grafą, du kartus vežiojo jį Vokietijon pas specialistus profesorius, buvo ir Parižiu, bet grafui neparengvėjo (A. Vienuolis) — "... дважды возил его в Германию к специалистам профессорам...";

б) Повторительное неодностороннее

Todėl /Anė/ nėkad nevyksta, kai Paulis neturi pinigų ir jie niekur neužeina — tik *vaikščioja* po miestą, sėdi parkuose ant suo-lelių, žavisi jūra (A. Rauža) — "... только ходят по городу..."

Juras nejučiomis pasidavė tai srovei, plėšc nuo stulpų, šventoriaus mūro krikščionių plakatus, skelbimus, klijavo saviškių, bėgiojo po kaimus su glėbiu proklamaciją (Р. Cvirkė) – "... бегал по деревням с кипой прокламаций...".

Итак, поскольку глаголы типа *nešioti* обозначают не только кратное (повторительное) действие, но и действие разовое (конкретное), с одной стороны, и они же обозначают кратное (повторительное) движение не только одностороннее, но и неодностороннее, с другой, то нет оснований, на наш взгляд, рассматривать признак кратности/некратности действия как общий различительный семантический признак парных глаголов движения в литовском языке.

Очевидно, что некратность/кратность действия можно было бы признать таким признаком в том случае, если бы глаголы типа *neštī* со своей стороны, обозначая движение одностороннее, выражали бы только действие конкретное, разовое и этим противостояли бы семантически глаголам типа *nešioti*, которые, как показано выше, обозначают и разовое и кратное действие. Однако и глаголы типа *neštī* в литовском выражают не только разовое, но и кратное действие. Такое употребление данных глаголов уже отмечалось в литературе. Так, А. Паулаускене, указав, что "формы прошедшего однократного несовершенного вида обозначают как однократное, так и многократное действие, ибо значение несовершенного вида вполне совместимо и со значением однократности, и со значением многократности", в качестве подтверждения этого положения приводит такие примеры: "Kartą jis ėjo į mokyklą" ("Однажды он шел в школу") и "Kasdien jis ējo į mokyklą" ("Каждый день он ходил в школу")²⁰. В другой работе А. Паулаускене также отмечает, что в одних контекстах формы прошедшего однократного времени глагола *eiti* могут обозначать действие однократное, в других – действие повторительное, например: "Ji vieną rytą ējo į darbą" ("Однажды утром она шла на работу") и "Ji kiekvieną rytą ējo į darbą" ("Она каждое утро ходила на работу")²¹. Подобное употребление глаголов типа *neštī* в литовском, кажется, более свободно и частотно, чем соответствующих им глаголов в русском и других славянских языках. Более же точная семантическая характеристика такого употребления данных глаголов сравнительно с глаголами типа *nešioti*, для которых обозначение повторительного

го одностороннего движения в литовском оказывается (во всяком случае, на первый взгляд) более "естественным" (т.о. так же, как в славянских языках), нуждается в специальном тщательном анализе.

В целом, как видим, парные глаголы типа *nešti* – *nešioti* в литовском характеризуются теми же семантическими отношениями по признакам односторонности/неодносторонности движения и некратности/кратности действия, какие свойственны соответствующим парам глаголов в русском и других славянских языках. При этом семантически маркированными в литовском являются глаголы типа *nešti*, которые всегда обозначают движение одностороннее. А. Паулаускенс в одной из своих работ отмечает, что глаголы *eiti*, *nešti* и др., "изъятые из контекста, не могут обозначать конкретного направления"²². Это верно, но лишь в том смысле, что сами по себе глаголы типа *nešti* не выражают и, естественно, не могут выразить огромного многообразия направлений конкретных движений, которые в каждом отдельном контексте выражаются дополнительными (лексическими) средствами. Однако все глаголы типа *nešti* и вне какого-либо контекста самой своей основой выражают обязательно движение в одном направлении в отличие от глаголов типа *nešioti*, которые в отношении направления движения вне контекста противостоят им как семантически немаркированные члены оппозиции.

Затронутая в настоящей статье семантическая особенность парных глаголов движения в литовском и славянском – весьма любопытное общее явление в грамматике и семантике литовского и части современных славянских языков, которое представляет собой, вероятно, результат параллельного, независимого друг от друга развития давней общей семантической основы соответствующих пар глаголов движения в литовском (балтийском) и славянском.

Примечания

¹ Русская грамматика. Т. I. М., 1982. С. 591.

² Исаченко А.В. Глаголы движения в русском языке // Русский язык в школе. 1961, № 4. С. 12.

3 См., например: Стрекалова З.Н. Из истории польского глагольного вида. М., 1968. С. 73–74.

4 Булатова Р.В. Судьба соотносительных пар глаголов движения в сербско-хорватском языке (глаголы *идти – хдити, *нести – носити, *вёсти – вёдти, *вёсти – вёзти) //Ученые записки Института славяноведения АН СССР. Т. 27. 1963. С. 225–227.

5 Венедиктов Г.К. О бесприставочных глаголах движения в болгарском языке XVII–XVIII вв. // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. Вып. 28. 1960. С. 24–25.

6 Lietuvių kalbos gramatika. Т. II. Morfologija. Vilnius, 1971. С. 13.

7 Там же. С. 30.

8 Грамматика литовского языка. Вильнюс, 1985. С. 188, 196–197.

9 Мустейкис К. Сопоставительная морфология русского и литовского языков. Вильнюс, 1972. С. 133–134.

10 Там же. С. 134.

11 Там же.

12 Эльзюмас Ю. Сопоставительная морфология русского и литовского языков. Вильнюс, 1985. С. 34–35.

13 Там же. С. 35.

14 По данным А. Гудавичюса, опирающимся на однотомные толковые словари русского и литовского языков, для выражения только значения 'идти' в русском имеется 50 глаголов, в то время как в литовском – 360; по его же словам, глаголов с таким значением мало даже в русских диалектах (Гудавичюс А. Сопоставительная семасиология литовского и русского языков. Вильнюс, 1985. С. 129).

15 Семенова М.Ф. Сопоставительная грамматика русского и латышского языков. Рига, 1966. С. 94.

16 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1972. С. XII.

17 Грамматика литовского языка... С. 197–198; Lietuvių kalbos gramatika... С. 30; Paulauskienė A. Lietuvių kalbos morfologijos apybraiža. Kaunas, 1983. С. 88.

18 Jakaitienė E. Leksinė semantika. Vilnius, 1988. С. 83.

19 Гудавичюс А. Указ. соч. С. 128–129.

20 Паулаускене А. Грамматические категории глагола в литовском языке. Вильнюс, 1979. С. 44–45.

21 Paulauskienė A. Lietuvių kalbos morfologijos apybraiža. С. 266.

22 Paulauskienė A. Lietuvių kalbos veiksmožodžių veiksmai. Vilnius, 1965. С. 9.

О НЕКАТЕГОРИАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПОЛЬСКИХ И РУССКИХ ТЕКСТОВ

Сравнительно-сопоставительное исследование славянских языков способно обнаружить многообразные типы межъязыковых сходств и различий — системно-структурные, функционально-семантические, функционально-стилистические и т.п. Одни из этих типов обнаружаются при сопоставлении систем или же их отдельных фрагментов, другие же — только лишь при сравнении конкретных текстов. Параллельные перенодные тексты являются объектом пристального внимания прежде всего теории перевода и лингводидактики, однако без этого уровня сопоставления и его материала не может обойтись и контрастивная лингвистика, так как именно текст является гарантом межъязыковой эквивалентности и именно текст несет на себе всю многослойную взаимозависимость элементов языка и в конечном счете кумулирует в себе все межъязыковые сходства и различия, что и дает возможность раскрыть иерархию этих зависимостей на более высоких — системном и функциональном уровнях.

При сопоставлении параллельных (переводных) текстов даже на близкородственных языках легко обнаруживается, что системно-структурные соответствия не обязательно совпадают с функциональными, а функциональные с узально-текстовыми. Это проявляется в частности в том, что информативно-коммуникативная адекватность текстов достигается за счет образований, имеющих разную характеристику, в том числе и принадлежащих к разным частям речи, ср., напр. *Umarł młodo* ‘Он умер молодым’; *Zbadali mikroskopowo* ‘Они исследовали при помощи микроскопа’ и т.п.¹. Наличие такой некатегориальной текстовой эквивалентики свиде-

тельствует не только о существовании для слов разных частей речи общих функциональных зон, но и о возможном несовпадении этих зон в сопоставляемых языках, а относительная устойчивость или даже нередко и обязательный характер — также и об ограниченности выбора и потому отражают какие-то более общие межъязыковые закономерности. Анализ межъязыковой некатегориальной эквивалентики применительно к определенным элементам текста (прежде всего — словосочетаниям и предложениям) через конкретные лексемы и их текстовые корреляты позволяет вскрыть склонную обусловленность между своеобразием языковых единиц и их выбором в контексте, характерную для каждого из языков².

К явлениям некатегориальной эквивалентики в параллельных текстах принадлежат достаточно распространенное, а для отдельных позиций и лексем даже регулярное соотношение между польскими неглагольными и русскими глагольными образованиями и формами. Такова не только широко известная соотнесенность польского глагольного имени и русского инфинитива, но и функциональная текстовая корреляция в определенных позициях между отглагольными прилагательными и формами более "высокого" глагольного ранга — причастиями, деепричастиями и даже личными глагольными формами, ср., напр., *Był zazdrosty o żonę* ‘Он ревновал жену’; *Siedział odwrotny* ‘Он сидел отвернувшись’; *Był tak za-myślony, że nie spostrzegł ...* ‘Он так задумался, что не заметил’... и т.п. В качестве непосредственного объекта исследования были выбраны тексты с польскими прилагательными с суффиксом *-ny*, мотивированные непосредственно глаголом или/и отглагольным именем типа *zgodny*, *płatny*, *ufny*. Нельзя не обратить внимания, что в значительном числе случаев при условии использования многих из них в предикативной функции возникает необходимость для создания адекватного перевода заменить их той или иной русской глагольной — причастной или личной — формой, сохраняющей, естественно, тождество лексической семантики. В атрибутивной функции им обычно соответствуют причастия. Степень обязательности появления глагольных форм для разных прилагательных, их разных значений в различных контекстах, конечно, неодинакова — от абсолютной облигаторности до полной факультативности — но общая тенденция несомненна³. Выявление условий и причин такой

показательной эквивалентики, базирующейся на функциональных различиях сходных деривационных структур, представляет интерес как в общесопоставительном плане, так и для практических нужд перевода или лингводидактики.

Если рассматривать избранные прилагательные в словарном плане, то в качестве их межъязыковых лексемных эквивалентов в русском языке обычно выступают либо прилагательные тождественного словообразовательного типа (с суффиксом *-ny*), образованные от этимологически или же лексико-семантически эквивалентных мотивирующих глагольных основ типа *tańćy* ‘тайный’, *dostępny* ‘доступный’, *zbieżny* ‘сходный’, *platny* ‘платный’ и т.д., т.е. полные системно-деривационные эквиваленты, либо также категориальные эквиваленты-прилагательные, обладающие той же лексической семантикой, но принадлежащие к иным, хотя и синонимичным словообразовательным структурам (в подавляющем большинстве – отглагольным), напр., *zmieniały* ‘изменчивый’, *przymilny* ‘записывающий’, *wymierny* ‘измеримый’ и т.д. Применительно же к тексту лексемные единицы, употребляемые в идентичных семантико-функциональных позициях и являющиеся эквивалентными компонентами информативно-коммуникативного содержания текста, следует рассматривать как текстовые корреляты, которые могут быть либо категориальными (прилагательными указанных выше типов), либо некатегориальными (прочие части речи)⁴. Анализ условий и причин появления некатегориальных текстовых коррелятов целесообразно проводить с учетом всех этих возможных видов взаимных межъязыковых соотношений.

Обращение к конкретным высклонаваниям обнаруживает целое насление зависимостей и причин грамматического и лексико-грамматического характера, которые определяют отсутствие в тексте перевода категориального эквивалента-прилагательного.

С некоторой долей условности можно заметить несколько уровней факторов, существенных для выбора текстового коррелята. Первый – собственно системный, или системно-деривационный раскрывается при сопоставлении самих словообразовательных типов, их деривационных особенностей на фоне других синонимических образований – польских и русских отглагольных прилагательных с общеславянской морфемой *-n/-ny*. Факторы следую-

шего – лексемно-деривационного уровня обусловлены характером функционирования каждого из соотносимых словообразовательных типов в словарной системе языка, их конкретной лексической реализацией. Совпадая в своих основных структурно-деривационных параметрах и занимая близкие позиции в словообразовательных системах своих языков, они могут быть отмечены различной лексической представленностью, располагать разным лексическим пространством, что в свою очередь проявляется в грамматических и семантических свойствах самих сопоставляемых прилагательных⁵. Этот словарный уровень соотнесенности конкретных лексем и их семантико-функционального потенциала определяет, в частности, имеется ли в другом языке прилагательное – категориальный эквивалент с искомыми свойствами и соответственно, чем ограничен выбор текстового коррелята. И наконец, собственно функционально-текстовой уровень охватывает формальные и семантические особенности самого текста. Предлагаемая иерархия сопоставлений (и зависимостей) в целом согласуется как с некоторыми принципами сопоставительного языкознания⁶, так и с постулатами А.В. Бондарко о трех уровнях анализа грамматических категорий слова⁷. Рассмотрим эту иерархию фактов последовательно, так как межъязыковые сходства и различия на каждом из этих уровней могут определять при переводе выбор любого текстового коррелята.

На первом уровне сопоставления, при опоре на словообразовательные системы польского и русского языков, нельзя не отметить большого сходства соотносимых словообразовательных типов. Словообразовательный тип "отглагольное прилагательное с суффиксом -n" (соответственно -n) является в обоих языках продуктивным и полифункциональным и обладает максимально возможным для прилагательных семантическим диапазоном: "характеризующийся отношением к действию, названному мотивирующим словом"⁸, "со значением чистого действия или состояния"⁹ (при субъектной или объектной ориентации). Вместе с тем исследователи указывают и на более частные элементарные семантические деривационные признаки: значение результативности (*резной, dziedziczny*), инструментальности (*вытижной/шкаф/, /parter/scienny*), потенциальности (*заразная/болезнь/, pojętny/uczelní, palny/materiał/*), в той или иной степени, свойственные обоим

языкам¹⁰. Констатируется сильная (даже и для современного языка) семантическая связь с мотивирующим глаголом или же с глагольным именем, восходящим к тому же глаголу, что находит отражение в сохранении прилагательным глагольной интенции и той же формальной модели управления¹¹. Сходными являются и общие тенденции развития: происходит отдаление прилагательного от мотивирующей глагольной основы как в семантическом отношении (развитие новых, собственно качественных значений), так и в грамматико-функциональном – изменяется или полностью утрачивается унаследованная от глагола актантная сочетаемость¹². В обоих языках прилагательные данного типа свободно используются и в атрибутивной, и в предикативной функциях, и хотя в целом каких-либо ограничений в этой области не отмечается, обращает на себя внимание определенное тяготение некоторых польских прилагательных к предикативному использованию, что обычно сопрягается с специализацией значения, напр., *być włądnym* ‘могущим что-либо сделать, иметь право, власть’, *być czynnym* ‘функционировать, работать’ и др. и что заслуживает особого рассмотрения.

Такая близость словообразовательных типов, казалось бы, не должна вызывать при переводе появления в предикативной функции некатегориальных коррелятов, но материал показывает, что часть из них связана с системным расхождением в семантике польских и русских дериватов. Это касается прежде всего некоторых частных семантических деривационных признаков, свойственных польскому словообразовательному типу и чуждых или всему русскому типу или же лишь данному деривационному эквиваленту. Таково дополнительное оценочное и квантиративное значение, которое обычно отсутствует в русских дериватах и потому может быть передано преимущественно описательно, парафразой с наречиями *много*, *успешно*, *удачно*, *хорошо* и в частности в сложных прилагательных, напр., *rakowna walizka* ‘чемодан, в который можно много запаковать’, *wielokrotny*, *zawieszony* ‘комната, в которой можно хорошо и удобно расставить мебель’, *niewielkie meble* ‘мебель, которую трудно разместить’, *regulny* ‘хорошо управляемый’, *kosztowny* ‘дорогостоящий, драгоценный’, *liczny* ‘многочисленный’ и т.п.¹³ Сюда же относится до-

полнительное значение повышенной легкости в реализации действия (польский термин – *tatwościowe*), которое может быть присуще польским прилагательным, напр., *strawy* ‘легко переваривающийся, легко перевариваемый’, *podatny* ‘легко поддающийся, восприимчивый’ и т.п. При переводе прилагательных-атрибутов эти семантические "слабости" русского деривационного типа обычно легко преодолеваются в рамках всей словообразовательной системы языка, т.е. вместо полных системно-деривационных эквивалентов используются лексемные категориальные эквиваленты. К ним относятся не только указанные выше сложные прилагательные, но и дериваты других словообразовательных моделей, с синонимическими суффиксами *-чив*, *-лив*, *-ом/-им*, *-тельн* и др., а при объектно-потенциальном и объектно-результативном значении – причастные формы, напр. *wymierony* ‘измеримый’, *uprawny* ‘возделываемый, ухоженный’. В позиции предиката таким прилагательным с объектной ориентацией коррелируют краткие страдательные причастия, а часто и личные глагольные формы, напр., *Drobne ciastka są podzielniejsze niż duże* (*SŁJP*, 6, 667) ‘Маленькие пирожные легче делятся, чем большие’; *Różnica między imiastowem a przymiotnikiem nie zawsze jest wyraźnie uchwytna* (*SŁJP*, 9, 439); Различие между причастием и прилагательным не всегда отчетливо улавливается.

Однако в целом следует признать, что ввиду отмеченной выше близости польских и русских дериватов с суффиксом *-н/-и* факторы системно-деривационного уровня не оказывают слишком большого воздействия на тип текстового коррелята и на невозможность использовать категориальный эквивалент. Значительно больше причин выбора сосредоточено на уровне лексемно-деривационной соотносительности, где определяющим становится собственная характеристика отдельной лексемы или же их группировок. Особый случай представляют здесь польские прилагательные, вообще не имеющие категориальных эквивалентов-прилагательных в русском языке, так что единственным средством их передачи в русском тексте остается форма исходного мотивирующего глагола, напр. *Każdy jestomylny* ‘Каждый может ошибаться/ошибиться’; *Nie będziesz stratny* ‘Не будешь в убытке/Не понесешь убыток’; *Winda nieczynna* ‘Лифт не работает’ и т.д.

Большое влияние на выбор некатегориального коррелята имеет семантическое отношение между прилагательным и мотивирующим глаголом и различия между языками в этом плане. Ранее уже отмечалось, что общей тенденцией развития исследуемых прилагательных является ограничение и изменение актантного распространения, что сочетается с целым рядом других изменений: потерей значения актуализированного признака, причастной семантики, свойственного прежде этим прилагательным, специализацией некоторых дериватов в выражении потенциальности, изменением залоговой ориентации. Как можно предположить, темпы этих процессов в языках вообще и особенно у отдельных лексем различны¹⁴, что чаще всего проявляется в разной степени обязательности/факультативности актантных распространителей или в их формальной схеме. Во многих случаях польские прилагательные обладают большей степенью глагольности, тем более, что в предикативной или полупредикативной функции глагольная интенция имеет наилучшие условия реализации, что и должно компенсироваться глагольным коррелятом. Это хорошо подтверждает группа польских прилагательных *zgodny*, *sprzeczny*, *zbieżny*, *rozbieżny*. Они объединяются общим значением релятивности ('находящийся в определенном соотношении с чем-либо, обладающий определенным отношением к чему-либо') при взаимной опозитивной противопоставленности. Сохраняя для данного значения обязательную глагольную интенцию и формальную глагольную схему управления — унаследованную (ср. /nie/zgodny z czymś — /nie/zgodzić się z czymś) или благонриобретенную (ср. *sprzeczny z czym — przeczyć czemu*), все они характеризуются в предикативной функции регулярной некатегориальной эквивалентностью, напр., *To wszystko...jest zgodne z moimi przekonaniami i sumieniem* (ZW) 'Это соответствует моим убеждениям и совести'; *Cele są sprzeczne z konstytucją* (ZW) 'Цели противоречат конституции'; *Pozorzenie w Genewie nie jest zgodne ze stanowiskiem całego polskiego Kościoła* (ZW) 'Поговоренность в Женеве не соответствует/не согласуется/ не отвечает позиции всей польской Церкви' и т.п. В атрибутивной функции текстовыми коррелятами служат причастные формы, напр., *znalezienie nowej pracy zgodnej z kwalifikacjami* (ZW) 'нахождение новой работы, соответствующей квалифи-

кации'; *najrozmaitsze hasta, sprzeczne ze sobą* (ZW) 'самые различные лозунги, противоречащие друг другу' и т.п. Знаменательно, что при изменении лексического значения, когда семантика соотнесенности/несоотнесенности предполагает взаимоотношение субъектов и потому требует не актантных распространителей, но семы множественности (напр., формы множественного числа), в русском тексте этим прилагательным могут коррелировать как категориальные эквиваленты (*согласный, сходный, близкий – противоположный* и т.п.), так и некатегориальные, глагольные, напр., *Wasze cele są, jeżeli nie zgodne, to przecież zbieżne, w zasadzie różnice dotyczą dróg realizacji* (Polityka) 'Ваши цели если и не совпадают, то ведь весьма близки, в принципе различия затрагивают лишь пути реализации'; *Pozycje prawne obu stron są całkowicie sprzeczne* (TL) 'Правовые позиции сторон совершенно противоположны'.

Наличие развернутой актантной схемы не позволяет использовать категориальные эквиваленты-прилагательные и для многих других польских отглагольных дериватов. Так слово *zależny* сохраняет присущее глаголу управление – *zależny od czego, kogo* (ср. *zależeć od czego, kogo*), в то время как его лексический эквивалент *зависимый* в современном русском языке обычно используется одиночно и потому только глагол способен преодолеть трудности с адекватной передачей актантной схемы, напр., *To jest zależne od różnych czynników* 'Это зависит от различных факторов'; *Musił być zależnym materialnie od brata* 'Он должен был материально зависеть от брата'. Аналогичное положение с дериватами *ufny* 'доверчивый', 'преисполненный веры во что', напр., *Piotr jest ufnym wobec kolegów* 'Петр с доверием относится к своим товарищам'; *być zdatnym, przydatnym kogo na co/ do czego, być odmiennym od kogo, czego*.

Ослабление семантической связи производного прилагательного с глаголом отражается на способности передавать актуализированное состояние, актуализированный признак. По этой черте разошлись например, прилагательные *zadrosny* и *rewelacyjny*. Если первое в одном из своих значений сохранило способность обозначать актуализированное объектно-ориентированное состояние, что, кстати, влечет за собой актантное распространение – облигаторного *o kogo* и факультативного *z powodu kogo*, то русский лек-

семный эквивалент, лишенный этих признаков (ср. *ревнивый муж, она очень ревнива*), в предикативной функции последовательно уступает позицию глаголу ‘ревновать кого к кому’, являющемуся и по семантической и по формальной сочетаемости некатегориальным эквивалентом польского прилагательного. Аналогичные соответствия возникают и при другом значении: *być zazdrosnym o co* ‘завидовать чему, ревниво относиться к чему’.

Категориальную эквивалентность могут нарушать также несоответствия в залоговой семантике. Так, *(nie)potny, (nie)par- miętny* сохраняют еще в стилистически отмеченном книжном употреблении субъектное значение, уже отсутствующее у русского *памятный* (но ср. *злопамятный*), напр., *Napiwszy się wody letej-skiej, niepotni byli wszystkich cierpień i radości, jakie przeżyli po ziemi* (SłJP, 5, 148) ‘Выпив воды из Леты, они забывали все свои страдания и радости, изведанные на земле’. В случае наличия у польского прилагательного значения объектной ориентированности при отсутствии такового у русских деривационных аналогов или вообще у отглагольных прилагательных с синонимическими суффиксами от соответствующих основ в качестве текстового коррелята могут быть использованы страдательные причастия (в предикативной функции – в краткой форме), напр., *Folwarczek był malutki, ale rządný i małdrze utrzymany* (SłJP, 7, 1457) ‘Фольварк был малюсенький, но содержался в разумном порядке и управляли им хорошо’; *Rękopisy... były zdobione bogato miniaturami, oprawne w pięknie wykaczane skórę* (SłJP, 5, 1054) ‘Рукописи... были богато изукрашены миниатюрами, оправлены в великолепную тисненую кожу’.

Иногда причина кроется в лексической сочетаемости слов. Так, слово *zgodny* (в одном из своих значений – ‘согласный’), охраняя обязательность актантных распространителей, не имеет каких-либо семантических ограничений в выборе актантов, а его русский эквивалент *согласный* употребляется только при имени лица, так что неличный субъект по необходимости должен соединяться в переводе с глаголом, напр., *Polityka rządu zgodna jest z poglądami większości społeczeństwa* (ZW) ‘Политика правительства соответствует (совпадает, согласуется) со взглядами большинства населения’, но *Jestem z Państw zgadna* ‘Я с Вами согласна’.

Таким образом на этом лексемно-деривационном уровне появление глагольных коррелятов связано прежде всего с различной судьбой прилагательного в каждом из языков, со степенью их отдаления – семантического, синтаксико-функционального – от мотивирующего глагола. Но в целом рассмотренные выше факторы обоих уровней лишь создают возможность (или настоятельную необходимость) обратиться ради достижения семантической и коммуникативной адекватности переведенного текста к глагольной лексеме. В полной мере это реализуется лишь в контексте и может быть обусловлено его непосредственными особенностями. На этом собственно текстовом уровне высказывания наиболее важными факторами является, как мы видели, сама предикативная позиция прилагательного, но также характер манифестиации отмеченных выше специфических черт словообразовательного типа и самой лексемы, как то наличие или отсутствие факультативных актантовых распространителей, допускаемых для данной лексемы, обозначение актуализированного или вневременного признака, особенности лексического значения и лексической сочетаемости. Но в интересующем нас аспекте важны и другие стороны конкретного контекста, в частности те, что связаны с выражением актуализированного признака и требуют определенной степени "глагольности" в адекватном тексте, например, наличие фазового или модального глагола, временная семантика предиката, присутствие обстоятельственных распространителей и т.п. Наглядно проявляется эта иерархия зависимостей в ряде контекстов с прилагательным *płatny*, обладающим по данным словарей, тремя значениями: 1) 'подлежащий оплате, платный' (о предмете), 2) 'оплачиваемый' (о человеке), 3) 'подлежащий уплате' (о денежном документе), компонентом которых может быть модальный оттенок долженствования. При отсутствии каких-либо распространителей польскому прилагательному, в том числе и в предикативной функции, коррелирует прилагательное – полный деривационный эквивалент 'платный', напр., *Kurs jest (od)płatny* 'Курсы – платные'. Однако польская лексема до сих пор может сохранять почти всю полноту глагольной интенции, вплоть до выражения субъекта действия (ср. *kto płaci komu za co czym – kto jest płatny, co jest płatne przez kogo*). При реализации в польском тексте субъектного актанта

(остальные обнаруживаются в разграничении лексико-семантических вариантов) не обладающее этими глагольными свойствами русское прилагательное уступает место глаголу, напр., *Wierzytelność akcjonariusza płatna przez spółkę w oznaczonym terminie* (SłJP, 6, 437) ‘Задолженность акционера оплачивается (подлежит оплате) акционерной компанией в указанный срок’. Объектная ориентация польского прилагательного, подчеркнутая количественно-оценочным определителем, способствует появлению глагольно-причастного коррелята, напр., *podjąć się każdej pracy, choćby najgorzej płatnej* ‘взяться за любую работу, пусть бы и хуже всего оплачиваемую’; *obsługa żle płatna* ‘излишне оплачиваемый персонал’ (ср. *płatny pracownik* ‘платный сотрудник’); *Godziny nadliczbowe, które były płatne o potowę drożej niż normalne godziny* (SłJP, 6, 497) ‘Оплата за сверхурочные часы была на половину выше, чем за обычные’. При наличии в контексте временной показателя реализуется свойственный польскому словообразовательному типу дополнительный семантический признак, подтверждая, что в русском тексте также требует специального глагольного обеспечения, напр. *Mam weksle płatne w sobotę... W sobotę są płatne* (Reymont). ‘У меня векселя, которые надо оплатить в субботу. В субботу они должны быть оплачены’.

Зависимость между синтаксической функцией прилагательного, связанным с ним лексическим значением и сочетаемостью, с одной стороны, и характером текстового коррелята, с другой, наблюдается в случаях типа *być bacznym, czujnym na co* ‘следить за чем-либо, обращать внимание на что-либо’ – *bacznym, czujnym okresem* ‘внимательно, зорко’, *Szlachta była niechętna reformom społecznym* (SłPP, 395) ‘Шляхта не проявляла интереса к социальным реформам’ – *patrzeć niechętnym okresem* ‘смотреть неприязненно’; *Rodzice panny byli tu dość przychylni* (SłJP, 495) ‘Родители девушки относились к нему довольно благожелательно/благоволили к нему’ – *patrzeć przychylnym okresem* ‘смотреть доброжелательно’ и т.д. Здесь польские прилагательные, сочетающиеся в предикативной позиции с личным субъектом, обнаруживают несравненно большую связь с мотивирующими их типично личностными глаголами, нежели употребляясь в переносном значении в качестве одиночного атрибута при неодушевленном имени, что не может не открывать возможности глагольному корреляту.

Несомненно, выбор текстового – категориального и некатегориального – коррелята может определяться также и другими, не менее важными в каждом отдельном случае, но более индивидуальными причинами, обусловленными своеобразием лексического и функционального развития прилагательного, особенностями всего контекста, его коммуникативной направленностью и даже опытом и пристрастиями переводчиков. Однако, как кажется, проведенный выше анализ определенно свидетельствует, что если коммуникативно-функциональная эквивалентность разнозычных высказываний базируется на эквивалентности элементов разного уровня, то и характер текстового эквивалента, в частности его некатегориальный характер, смена частеречной принадлежности лексических эквивалентов, может быть результатом зависимости также весьма различных уровней – от системного до собственно контекстуального. Следует еще раз подчеркнуть, что выявленные факторы не существуют в отдельности, но взаимосвязаны и взаимообусловлены, однако учет всей этой иерархической системы позволяет сделать анализ более объемным и всесторонним. Обнаруженные несоответствия в распределении синтаксических ролей между глагольными формами и прочими отглагольными образованиями в польских и русских текстах показывают перспективность дальнейшего изучения предикативного потенциала прилагательных в каждом из языков¹⁵. Проведенный анализ подтверждает также целесообразность выделения при сопоставительном грамматическом исследовании особого уровня сравнения – уровня лексической представленности¹⁶, и, как можно предположить, применительно к категориям разного типа – словообразовательным, морфологическим, синтаксическим – характер и значимость лексической презентации будут различными.

Примечания

¹ Ср. Бондарко А.В. К проблеме стратификации семантики // Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков. Тезисы докладов и сообщений. М., 1992. С. 5.

² Использование текстов переводов в качестве источника материала, естественно, требует очень большой осторожности, ибо

здесь интерференция языка-источника и субъективизм переводчика могут быть весьма значительны, однако при достаточно большом корпусе примеров и закономерности семантико-коммуникативной адекватности высказываний, и общая регулярность соответствий вполне заслуживают доверия.

3 Отметим, что кроме указанных отглагольных образований полная некатегориальная эквивалентность (только глагольный коррелят) присуща также ряду прилагательных с тем же суффиксом, но мотивированных другими частями речи, напр., *Być obecnym / nieobecnym* 'присутствовать'/'отсутствовать', *być przeciwnym* 'быть против, не соглашаться', *być bezpiecznym* 'быть в безопасности' и нек. др.

4 Вне анализа остаются, естественно, структурно-деривационные аналоги, т.е. прилагательные с одноименными суффиксами *-n/-n*, но с разошедшимися значениями типа *widny pokój* 'светлая комната', но 'видный мужчина', *łączny nakład* 'общий тираж', но 'связная собака', 'связный рассказ'. На уровне текста они просто не встречаются, хотя в системно-сопоставительном плане представляют интерес.

5 О емкости словообразовательных типов см. *Волоцкая З.М.* К сопоставительному описанию славянских языков // ВЯ, 1975, № 5. С. 50–51.

6 О разграничении плана структурной и узуально-стилистической эквивалентики языков см. *Siatkowski St. Strukturalne i uzuallno-stylistyczne właściwości odpowiedników międzyjęzykowych* // *Slavia Orientalis*. Wrocław, 1978, № 3. S. 361–366.

7 *Бондарко А.В.* Об уровнях анализа грамматических категорий слова // *Studia Gramatyczne*, V, 1982. S. 85–97.

8 *Русская грамматика*. М., 1980. Т. I. С. 291.

9 "czysto czynnościowe lub stanowe: N który V, N który ktoś V" – *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia*. Css., 1984. S. 410–416.

10 *ibid.*, а также см.: *Grzegorczykowa. Zarys słownictwa polskiego*. PWN, Warszawa, 1979. S. 64–67; *Gaertner H. Gramatyka współczesnego języka polskiego*. Cz. III, 2. *Słownictwo*. Lwów-Warszawa, 1938. S. 362–363; *Kirkowska H. Budowa słownictwa przymiotników odczasownikowych*. Wrocław, 1954. 175 S. Отметим, что, по свидетельству Г. Курковской (с. 66), в польском языке наблюдается вытеснение этих прилагательных на *-n* другими словообразовательными формациями и перемещение многих из них в архаические и стилистически отмеченные пласты лексики.

- 11 *Butler D.* Rekcja przymiotników odczasownikowych // Poradnik Językowy, 1967, № 8. S. 357–370.
- 12 В историческом плане это хорошо показано в указанных работах Г. Курковской и Д. Буттлер, а также см. *Булаховский Л.А.* Исторический комментарий к русскому литературному языку. Киев, 1958. С. 193; *Балалыкина Э.А.* Из наблюдений над русско-польскими соответствиями на *-ный* и *-ny* // Учен. зап. Казанского ГПИ, вып. 77. Вопросы теории и методики изучения русского языка. Казань, 1970. С. 138–145.
- 13 Для отдельных русских прилагательных такое значение также иногда фиксируется, напр., *складная фигура* – см. *Радзиковская В.К.* Об определительной функции неотадъективных мотивированных прилагательных в русском языке // ПДВШ. Филологические науки. М., 1974, № 5. С. 52.
- 14 О разновременности процессов "деглаголизации" отглагольных прилагательных в родственных языках см. указ. соч. Э.А. Балалыконой.
- 15 Ср. *Wojtasiewicz O.A.* O polskich przymiotnikach niepredykatywnych // Poradnik Językowy, 1972, № 7. S. 394–398.
- 16 См.: *Барнет В.* К проблеме языковой эквивалентности при сравнении // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983. С. 14–25.

Источники и сокращения

- SłJP – *Słownik języka polskiego*. Pod. red. W. Doroszewskiego. Warszawa, 1958–1969.
- SłPP – *Słownik poprawnej polszczyzny*. Warszawa, 1973.
- TL – газета “*Trybuna Ludu*”.
- ŻW – газета “*Życie Warszawy*”.
- Polityka – еженед. “*Polityka*”.

И.А. Седакова

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ РОДСТВА И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Предлагаемые заметки посвящены частной проблеме сопоставительной лексикологии — анализу участия общеславянской лексики в процессах вторичной номинации в близкородственных языках. Нам приходилось уже вкратце писать об основных типах различий в функционировании и семантике генетически единой лексики в русском и болгарском языках на примере общеславянского *baba*¹. В данной статье речь пойдет о других терминах родства (*дед, мать, брат, сестра* и др.), причем основное внимание будет уделяться непрямым значениям этих лексем и их производных².

Избрание в качестве материала лексико-семантической группы терминов родства неслучайно. Этот архаичный пласт лексики обозначает концептуально существенные отношения и активно используется в воссоздании модели мира. "Родственныи" код распространяется, в частности, на многие области материальной и духовной культуры и очень продуктивен в словообразовании³. Важное значение, как нам представляется, здесь имеет тот факт, что термины родства составляют четко структурированную систему противопоставлений с ярко выраженным семами и семантическими оппозициями. Многие явления и предметы воспринимаются через призму родства и реализуют один из членов оппозиций: мужской–женской, кровное–свойственно родство, родитель–ребенок ("порождающее–порождаемое") — см. ниже. Эти отношения переносятся не только на сферу живой, но также и материальной, неживой, неодушевленной природы.

В процессах развития непрямых значений действуют и другие факторы – например, табуирование как гилястический способ именования демона как "своего", "родного" при помощи термина родства. Можно говорить и о роли культа предков в развитии лексических систем славянских языков, это особенно характерно для метафорических слов, первоначально обозначающих родственные отношения во втором поколении – *дед, баба*⁴.

Для создания наиболее полной картины переносных значений терминов родства особую ценность имеют диалектные словари (см. список источников в конце статьи). Интересные данные по семантическому развитию общеславянских основ с прямым значением 'родственник' встречаются в этнографических описаниях, т.к. для лексики традиционной материальной и духовной культуры концепт родства (кровного или свойственного) весьма релевантен.

Показательны в этом плане и данные языка и поэтики фольклора⁵, особенно загадок, повторяющихся в некотором роде процессы вторичной номинации и создание метафорических значений. Очевидно, неслучайными являются иногда даже буквальные совпадения использования термина родства в загадке в качестве обозначающего с диалектными метафорическими значениями однокоренного слова: например, рус. *Дедушка осердился; в бабушку вцепился* = 'Репейник' и драл. *дед* – 'репейник', ср. также опосредованные коннотации в болгарских загадках с эrotическим подтекстом ("эффектом обманутого ожидания" – Ю.И. Лезин): *Дядо-вото виси, бабиното зее* = 'Колодец и ведро' и использование лексем *дядовият, бабината* в качестве народных анатомических терминов⁶.

На переносных значениях терминов родства строятся и многие фразеологизмы. Именно в сфере фразеологии и других клише (например, образных сравнений) нередко реализуются потенциальные семы слова⁷. Но если для непрямых значений терминов родства и их производных в процессах вторичной номинации избираются преимущественно семы для образования "материальных" значений, то для клишированных выражений важнее абстрактные и оценочные значения.

В развитии семантики и образовании переносных значений существуют определенные универсалии, распространяющиеся, в частности, на фразеологию. Так, лексемы *жать* и *отец* (болг. *майка*

и баша), содержащие потенциальные семы ‘родной человек’, ‘заботливый’, ‘покровитель’, употребляются в обращениях с выражением слезной просьбы: *Ти баша, ти майка* (и экспрессивное *Ти Господ, ти майка* – ‘На тебя вся надежда’).

При использовании терминов *брать* и *сестра* важными оказываются значения близости (например, по возрасту), идентичности профессии, места проживания – *ваш брат писатели, ваша сестра* (в значении ‘вы и вам подобные женщины’ – по принадлежности к женскому полу), *брать по духу, братья по оружию*, болг. *пишещи братя*: – (‘писатели’), ср. также поэтическое окказиональное “Сестра моя жизнь” и т.д. В образных выражениях релевантно противопоставление кровного родства и его отсутствия: болг. *кому майка, кому мащеха* (ср. и метафорическое соединение противоположностей в одном термине *мать-и-мачеха*), или уподобление кровному родству – олонецк. *брать брату продать* (‘без барыша’ или с малой выгодой’), в сравнениях *словно вторая мать, словно отец родной* и др..

Как уже отмечалось, терминология родства представляет собой четкую систему, строящуюся на противопоставлениях и отдельных признаках. Представленные в семантической структуре слова семы оказываются очень подходящими для развития переносных значений и для образования новых слов. Так, например, уподобление свойственного родства (или вообще его отсутствия) кровному широко представлено в болгарском языке, где особой продуктивностью отличается в подобных случаях префикс *по-*: *побратим, посестрица, побащим, помайчима* (последние два термина отчасти соответствуют русским *посаженный отец, посаженная мать*), ср. в песне: *Чужда е майка помайчил/ Чужди е сестри посестрил/ чужди е брате побратил*⁸.

Реально представленные семы дают возможность развивать и потенциальные семы – так, например, для слова *дед* важны признаки ‘родитель во втором поколении’, следовательно, ‘старый’, а отсюда, с одной стороны, ‘знакощий’, ‘опытный’ (рус.; *дедок* – ‘энхаляр’, *дедить* ‘колдовать’, ‘совершать магические действия’ – например, в Смоленской губ. *дедить* над огурцами, чтобы они выросли), а также внешние признаки – ‘морщинистый’, ‘усатый’, ‘бородатый’, ‘сгорбленный’ (рус. *дедок* – ‘усик огурца’, *дед* – ‘чертополох’, ‘пескарь с усами’, болг. *дядовчет* – ‘мохнатые се-

мена', а также в целом ряде двусоставных ботанических терминов типа болг. *дядови зъби*). В болгарских производных словах акцентируется мужское начало (в анатомических терминах *дядовият*, *дядовец* и пейоративных выражениях типа *Ще му вземе дядовият* – 'Ни шина не получит').

Если в процессе вторичной номинации с использованием терминов, обозначающих родственников во втором поколении, самыми важными являются значения 'старый', 'опытный', связывающие их с культом предков, и метафора по внешнему сходству, то для лексемы *матъ* выделяется целый ряд сем, отражающих широту интенционального содержания:

Л. 'Глава, основа': рус. *матка* и болг. *майка* ('главная в улье пчела'), рус. *матка* – 'вожак в овечьем стаде', *матуха* – 'старшая в семье женщина', ср. болг. выражение *това му е майката* – 'основа основ'; опора в прямом, физическом смысле слова: рус. *матка* – 'деревянная основа окна, грабель', 'опора, центр тяжести'; 'сила, исключительное развитие, величина' – рус. *житная матка* – 'стебель с большим количеством колосьев', болг. *майка* – 'двойной колос', рус. *матица* – 'самый большой плот (невод)', 'большой стог сена'.

Б. Порождающее начало, представление о плодородии, родах и о потомстве: рус. и болг. *матка* как анатомический термин, рус. диал. *матка* 'источник, корень', 'луковица, от которой отделяется детка', 'плодник', обозначение самок животных (рус. *матуха* – 'медведица с медвежатами' и др.), болг. *матка* – 'устье реки'. Женское начало: рус. *матерка*, *маточная копопля* – 'женская копопля' в противоположность мужской *поскони*, болг. *майка* 'женская' часть измерительного прибора, в которую вставляется 'женская'.

Термины родства *брать*, *сестра* в процессах вторичной номинации развивают преимущественно значения 'ребенок, потомство' отсюда – множественность (или хотя бы неединичность) – ср. болг. диал. *братимя*, *браќа* – 'двойной росток из одного зерна', рус. диал. *братья* – 'детали плуга', *братки* – 'апотины глазки', пск. *братики*, *братишкі* – 'незабудка мелкоцветная'. Общность одного из признаков также способствует образованию метафорических значений (см. выше во фразеологизмах) – болг. *брата* 'сверстники', ср. интересное толкование *братчины* в Смоленском

областном словаре: "Члены братчины связаны между собой или соседством, или родством, или экономическими интересами".

При использовании "родственного" кода обычно акцентируется один признак и нивелируются другие, это объясняет наличие междиалектных (или даже межъязыковых) синонимов, использующих различные основы. Так, например, в болгарском языке синонимичные словообразования появляются от терминов *дядо* и *татко* ('мужское начало'), *баба* и *майка* ('женское начало'), *брат/сестра/син/дъщеря* ('дети'), *дядо* и *баба* ('старый') и др. 'Капитал', 'деньги' в русском языке обозначается лексемой *бабки*, а в болгарском — *майка* и др. .

В заключение обозначим вкратце сферы переноса терминологии родства в русском и болгарском языках. Прежде всего, это лексика фауны (применение к животным модели человеческой семьи, а кроме того мифологическая лексика — особенно названия ласки и божьей коровки). Родственный код охватывает также сферу анатомии и физиологии.

Активно используются термины родства в фитонимической лексике: метафора по внешнему виду или в связи с демонологическими или мифопоэтическими ассоциациями (например, болг. *горска майка* — 'трава от детского плача' в связи с представлением о соответствующем демоне), *слънчева майчица* — 'подсолнух'. Рус. смол. *девозник* — растение, находящее применение в народной медицине ("пьют от колотыря"), в колдовстве — например, чтобы приманить домового — втыкают в ворота хлева, а на Ивана Купалу ставят у ворот для отгона нечистой силы, ср. называние различных мифологических персонажей однокоренной лексемой *дедушка* — 'водяной', 'домовой' и др. Много терминов родства встречается в качестве обозначений различных компонентов материальной культуры: предметов быта — посуды, частей дома и орудий труда, продуктов питания — выпечки, колбас.

Особого внимания заслуживает применение "родственного" кода в терминологии духовной культуры русских и болгар как на уровне обрядности, так и на уровне мифологических представлений. Прежде всего, очень много терминов родства используется в качестве свадебных чинов. В болгарской свадебной терминосистеме существует разветвленная система родства на время свадь-

бы: ‘шафер’ – *девер*, ‘его помощник’ – *поддевер* (также и *зълва*, *подзълва*, *деверица*, *поддеверица*) и др. Особенno сильны свадебные коннотации для болгарской лексемы *девер* и ее производных, ср., например, в выражении *заминавам с девер* – ‘отправляться в тюрьму’. В русской свадебной терминологии родственный код используется меньше, хотя тоже встречаются чины (с определениями – *посаженный отец*, *посаженная мать*, *почестные братья*: и без эпитетов – пск. *брат* – ‘шафер жениха’, *дядька*).

В календарной обрядности ряд терминов используется в качестве хрононимов: рус. *золовины* – ‘начало поста’, *золовкины посиделки* – ‘субота перед масленицей’, *зятница* – ‘неделя перед масленицей’; болг. *Лелинден*⁹ = *Чуминден*. Здесь же следует упомянуть об использовании лексем *баба*, *дед* в поминальной обрядности и в календарных обходах ряженых, имеющих непосредственную связь с культом предков.

Демонологическая лексика очень часто привлекает термины родства в качестве табуистических названий мифологических персонажей: рус. *дедерь* – ‘нечистый дух’; болг. *дедейко* – ‘вампир’; болг. *дядо*, рус. *дедушка*, уральск. *браташушка* – ‘домовой’; рус. *матица-доброхотица* – ‘домовой женского пола’; *дедя* – ‘леший’. Антропоморфные образы болезней и смерти также обозначаются терминами родства – рус. *метуха*, *матуха* – ‘оспа’, ‘чума’, болг. *леля* – ‘оспа’, ‘тиф’, ‘чума’, ‘смерть’, *дедейко* – ‘сибирская язва’.

Демонологические аллюзии, связанные с терминами родства, встречаются и в болгарских фразеологизмах: *Хванали го майките / Хванали го белите братя* – ‘Сойти с ума’, ср. также *Дошли са ми братята и Хващат ме братята* – ‘взбелениться’. Интересно, что последний фразеологизм существует параллельно с синонимичными выражениями, содержащими демонологическую лексику: *Хващат ме дяволите, Хващат ме рогатите и* – что особенно важно – *Хващат ме додките*, где *додка* – ‘старшая сестра, тетя’.

Интересно соопоставить также фразеологизмы с эксплицитным и имплицитным упоминанием родства, имеющими почти идентичное буквальное, но отличающееся переносное значение: болг. *Не са ми наедно всичките братя* – ‘грустить, быть не в своей тарелке’ и русское *У него не все дома* (о человеке со странностями, приурковатом).

Таким образом, основные термины родства используются для обозначения самых различных сфер окружающего человека мира. Близость русского и болгарского языков порождает одинаковые ассоциации на уровне народной этимологии: *золовка* и *злой* в русском и *зъла* и *зъл* в болгарском (кроме формального созвучия имеется реализация отрицательных коннотаций свойственного родства,ср. рус. *золовка зловка*; *золовка колотовка*; *золовка мутовка*). Семантическое развитие лексем идет в одном направлении путем акцентирования одной реальной или потенциальной семьи и нивелированием других сем.

Русские и болгарские метафорические слова могут являться когипонимами (например, названия трав). Различия охватывают также степень продуктивности "родственного" кода в конкретной лексической группе и словообразовательные потенции лексемы в двух языках.

Примечания

1 Седакова И.А. К изучению общеславянской лексики в близкородственных языках // *Filologia Slavica*. Сборник в честь 70-летия акад. П.И. Толстого. М., 1993.

2 Мы не останавливаемся специально на сопоставлении современного состояния терминосистем родства в русском и болгарском. Заметим лишь, что в болгарском языке, особенно в его диалектах, сохранившаяся разветвленная терминосистема родства включила в себя значительное число турецких и греческих заимствований.

3 Термины родства занимают важное место в традиционной речевой культуре и вызывают множество ассоциаций. Например, у болгар существует ряд ситуаций, детерминирующих обязательное упоминание родственницы (матери, тещи, свекрови). Например, если нежданный гость приходит к началу застолья, он должен сказать: "*Жива е тъща (баба) ти*", а к концу — "*Умряла е баба (свекъра, тъща) ти*". Кроме того, если родство понято неверно или обращение слишком назойливо, используются созвучные терминам родства проклятия или инвективы: "*Брат ми е, брадва да го посече*", "*Бабо!*" — "*Бабник те търтил*" или "*Сбабчили ти се краката*", "*Стрино!*" — "*Стригли те дяволи*" и др.

4 Подробнее об использовании терминов родства и отражении культа предков в лексике народного календаря болгар см. в нашей статье: Седакова И.А. Към изучаването на българската обредна

терминология (словообразования от основите баб-, дед-, стар- в терминологията на коледно-новогодишната обредност) // Български фолклор. София, 1984, 1.

5 В фольклорных текстах распространены такие метафоры, как *матъ сыръ земля*: (болг. земя маіка), *дървен девер* 'гроб' (в контексте представлений о смерти как о свадьбе) и мн. др.

6 Параллель между номинацией и фольклором возникает еще в одном случае, когда мифоэтический термин (растения или животного) совпадает с текстом фольклорной легенды или былички.

7 См. статью о потенциальной семантике на болгарском материале: *Лазарова М.* Опыт за характеристика и класификация на потенциалните семи // Български език. София, 1990, 1.

8 Роль кровного родства в народных представлениях прослеживается при анализе различных обрядов, направленных на установление родства, аналогичного кровному: ритуалы, связанные с институтом побратимства (ср. *молочные братъя*, *крестовые братъя* – дети кумовьев и пр.), усыновления, в частности, болг. определения "матери" (*помайчика*) для детей, рожденных в один месяц (*единомесечета*) и др.

9 Болг. *лела*: 'тетя' (рус. *леля* – 'крестная мать') не сохранилось в русском литературном языке, но в диалектах очень часто используется в переносных значениях, развивших первоначальную семантику родства.

Источники

Архангельский областной словарь. Вып. 1–4. М., 1980–1985; Българска диалектология. Тт. 1–. София, 1962–; Български этимологичен речник. Сост. Георгиев Вл. и др. Тт. 1–3. София, 1971–1986; Геров Н. Речник на български език. Тт. 1–6. София, 1975–1978; Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Тт. 1–4. М., 1955; Добропольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914; Иванова А. Ф. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969; Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898; Младенов Ст и Балан Ал. Български тълковен речник с оглед към народните говори. Т. 1. А–К. София, 1951; Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852; Подвысоцкий А. О. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885; Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–6. Л., 1967–1986; Речник на български език. Тт. 1–4. София, 1977–1984; Словарь брянских говоров. Вып. 1–4. Л., 1976–1984; Словарь орловских говоров.

Вып. 1–2. Ярославль, 1989; Словарь русских говоров Среднего Урала. Тт. 1–5. Свердловск, 1964–1984; Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. Красноярск, 1988; Словари, русских донских говоров. Вып. 1–3. Ростов–на–Дону, 1975–1976; Словарь русских народных говоров. Под ред. Ф.П.Филина и Ф.П.Сорокалетова. Вып. 1–26. Л., 1965–1991; Словарь смоленских говоров. Тт. 1–3. Смоленск, 1974–1982; *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Тт. 1–. М., 1986–1987; Фразеологичен речник на български език. Сост. Ничева К. и др. Тт. 1–2. София, 1974; Фразеологический словарь русского языка. М., 1978; Этимологический словарь славянских языков. Тт. 1–. М., 1974– ; Ярославский областной словарь. Ярославль, 1981–1984.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактории	3
<i>A.B. Бондарко.</i> К вопросу о типах грамматической семантики: признак интенциональности	4
<i>A.E. Кибрик.</i> Родственные языки как объект типологии	16
<i>B.B. Касевич.</i> Типология языков и типология культур	26
<i>M.I. Лекомцева.</i> Типология и классификация в исторической перспективе	38
<i>Z. Рудник-Карват.</i> Моделирование как основной метод сопоставительного словообразования	46
<i>E.I. Демина.</i> К проблеме интерференции на грамматическом уровне	54
<i>L.N. Смирнов.</i> Проблемы синхронно-сопоставительной лексикологии в современной чехословацкой лингвистике	69
<i>Vяч.Вс. Иванов.</i> Категория лишительности в языках славянского языкового союза	80
<i>B.C. Храковский.</i> Условные конструкции (проблемы типологического анализа)	82
<i>T.M. Судник.</i> О формах отрицания в северо-западных белорусских говорах	99
<i>A.Ф. Литвина.</i> Славянская и неславянская норма: порядок слов в текстах XVIII века	103
<i>M.I. Ермакова.</i> К вопросу о сравнительной грамматике верхне- и нижнелужицкого литературных языков	112
<i>T.N. Молошная.</i> О временных формах глагола в современных славянских языках	123
<i>H.A. Козинцева.</i> Структурно-типологическая характеристика категории пересказывательности/непересказывательности (засвидетельствованности)	135
<i>Ю.Е. Стемковская.</i> Особенности функционирования иноязычных суффиксов имен существительных в чешском и сербскохорватском языках	145

<i>Л.Э. Калнынъ. О критериях типологического тождества</i>	
на фонетическом уровне (на материале восточнославянских диалектов)	157
<i>Т.Н. Малыр, О.Н. Селиверстова. Понятие "пространства" и "расстояния" в семантике некоторых русских и английских предлогов и наречий</i>	166
<i>Г.П. Клепикова. Сравнительно-типологическое изучение лексико-семантических явлений в диалектах карпатского ареала</i>	182
<i>Г.К. Венедиктов. К семантической характеристике парных глаголов движения в литовском и славянских языках</i>	191
<i>Т.С. Тихомирова. О некатегориальной эквивалентности польских и русских текстов</i>	205
<i>И.А. Седакова. Метафорическое значение терминов родства и их производных в русском и болгарском: сопоставительный анализ</i>	219

Научное издание

**ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
В СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ**

Сборник статей

**Ответственный редактор
кандидат филологических наук
Т.Н.Молошная**

**Оригинал-макет подготовлен
в редакционно издательской группе
Института славяноведения и балканистики РАН**

**Подписано в печать с оригинал-макета 18.05.93. Формат 60x84/16. Гарнитура академическая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,5. Тираж 250 экз. Заказ № 75 . С-016.**

Московский **ОБОЗРЕВАТЕЛЬ**

ВСЕ ГАЗЕТЫ РОССИИ В ОДНОЙ

Индекс в
подписном
каталоге
32114
(стра-
ница 40).
Цена
подписки
780 руб.



... лучшие статьи и самые интересные новости из 200 газет России читайте в еженедельнике "Московский Обозреватель"



RUSSIAN
PRESS
SERVICE

Рекламное
Агентство
"Русская Пресс Служба"
предлагает:

- размещение рекламы в газетах и журналах Издательского дома "Новое время", на которые мы обладаем эксклюзивным правом: газеты "Все для Вас", "Домашний Адвокат", "Московский обозреватель"; журналы "Новое время", "New Times International", "Amour", "We offer";
- публикацию рекламы в интересующих Вас регионах СНГ, а также за рубежом через наши представительства в Чикаго и Стамбуле;
- стилизованный рекламный дизайн;
- составление оригинальных рекламных текстов;
- размещение рекламы на телевидении и радио;
- написание сценариев для рекламных видео- и аудиоклипов;
- разработку фирменного стиля (логотип, торговая марка, эмблема сервиса);
- изготовление высококачественной полиграфической и сувенирной продукции самого широкого назначения (буклеты, визитки, блокноты, рекламные плакаты, фирменные бланки, значки, брелки, зажигалки, сумки, майки, ручки);
- организацию презентаций, выставок;
- организацию конкурсов;
- оперативное выполнение заказов;
- возможность сотрудничать с нами на условиях бартера и кредита.

НАША ЦЕЛЬ - УСПЕХ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!

Телефоны: 200-21-10, 209-92-82, 209-95-81
Факсы: 209-51-78, 209-92-82, 200-41-92, 200-42-23

45293RL